

ВАЛЕНТИНА
ХОДАСЕВИЧ

ПОРТРЕТЫ
СЛЮВАМИ

Валентина Ходасевич

Портреты словами

Ходасевич В. М.

Портреты словами / В. М. Ходасевич —

Валентина Михайловна Ходасевич (1894—1970) – известная советская художница. В этой книге собраны ее воспоминания о многих деятелях советской культуры – о М. Горьком, В. Маяковском и других. Взгляд прекрасного портретиста, видящего человека в его психологической и пластической цельности, тонкое понимание искусства, светлое, праздничное восприятие жизни, приведшее ее к оформлению театральных спектаклей и, наконец, великолепное владение словом – все это воплотилось в интереснейших воспоминаниях.

Содержание

Предисловие. ПРАЗДНИК	5
ВСТУПЛЕНИЕ	14
НАЧАЛО ПУТИ. ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ	16
Детство. Годы учения	16
Пожар	20
Поездка по волге. Рерберги	21
Выставки	23
Кремль	24
Воробьевы горы	25
Наталия Гончарова и Михаил Ларионов[4]	27
Конец детства (Первый портрет)	29
Первый учитель Павел Павлович Пашков	31
Студия Федора Ивановича Рерберга	33
Кружок	36
Алексей Николаевич Толстой	38
Покупки отца и его коллекция	42
Мюнхен	45
Дахау	49
Гуго фон Хаберманн	51
Карнавал	54
Впервые вижу Маяковского	57
Париж	58
Уроки Ван-Донгена	61
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Валентина Михайловна Ходасевич

Портреты словами

Предисловие. ПРАЗДНИК

1

Зимой 1986 года в ленинградском Манеже восхищенные зрители подолгу смотрели на картины В. М. Ходасевич, занявшие почетное место в экспозиции полотен художников начала века на выставке портрета из частных собраний. Я и за много лет до того слышал от знакомых любителей и знатоков искусства 10-х годов, что коллекционеры охотятся за ее вещами. Совсем молодая художница за восемь лет своей работы в живописи сумела выработать свой собственный почерк, отличающий ее от современников, среди которых столько фантастически ярких имен – упомянем хотя бы тех, о которых она вспоминает в этой книге: Татлин, Филонов, Малевич, Гончарова, Ларионов. Остановимся: перечисление здесь немыслимо, ведь за каждым из этих имен – целая вселенная образов, красок, линий, плоскостей, объемов, лучей. Какой же даровитой надо было быть, чтобы не затеряться среди этих мастеров, суметь рядом с ними создать собственный живописный мир, до сих пор нас впечатляющий!

Валентина Ходасевич – живописец развивалась стремительно. Жизнь внезапно вывела ее в другую область искусства. Она с удивлением описывает отчасти похожее перевоплощение Татлина, как бы не замечая сходства с собственным развитием. Как Татлин от своей живописной лепки объемов перешел к сверхновизне конструкций «Летатлина» и Башни III Интернационала, так В. М. Ходасевич из оригинального портретиста-живописца становится изобретательным художником зрелищ – театральных и площадных-уличных, к которым ее тянуло даже больше, чем собственно к театру. По датам перемен в искусстве ощущается пульс истории: для художницы переломным оказывается 1918 год, после которого начинается ее почти сорокалетняя работа по созданию спектаклей. Она во всем профессионал, предъявляет к себе и ко всем, кто с ней вместе трудится в театре, чрезвычайно строгие требования, жестко по пунктам сформулированные в ее книге. И для сцены, как раньше в портретной живописи, Валентина Ходасевич работает только до тех пор, пока она сама по своему суду считает профессионализм обеспеченным.

В третий раз она меняет вид основной деятельности в конце 50-х и начале 60-х годов, когда, перестав работать в театре, занялась книгой о своей жизни. Части этой книги тогда же печатались в «Новом мире» и в мемуарных сборниках, получили отклик и признание у широкой общественности (отрывок из нее недавно был включен даже в путеводитель по озеру Селигер!). А она с настойчивостью, ей свойственной, продолжала работать над рукописью, думала даже: «Возможно, судьба хранила меня, чтобы я написала эту книгу».¹

По этой прозе видно сразу, что ее автор – художник. Больше того, ее «портреты словами» задуманы именно как словесный эквивалент ее живописи. Недаром, например, свой портрет Бабеля она начинает с характеристики цветовой: «Все в Бабеле было неповторимым при его, на первый взгляд, непримечательной внешности. В ней не было ничего яркого, цветного. И волосы, и цвет глаз, и кожа – все было приглушенных тонов. Никогда не видела в его одежде ни кусочка яркого цвета».

¹ Здесь и дальше в кавычках – цитаты из книги В. М. Ходасевич.

Вспомним, как уловил присущее ей умение передать цветом суть изображаемой модели Горький, когда она написала его портрет: «Вот здорово! Молодчина! Ловко Вы меня задумали! – и глаза голубые, и рубашка голубая, и куски неба...» А она сама в своей зарисовке первого впечатления от Горького отмечает «детской голубизны глаза» – «рубашка голубая (почти совпадающая с цветом глаз)». А в словесном портрете живописца Якулова сказался театральный художник, знающий толк в костюмах и гриме: «Медленно и величаво идет мужчина в ярчайшем восточном халате, в тюрбане, голые ноги, сандалии, загорелый красавец с черной ассирийской бородой».

В «портретах словами» В. М. Ходасевич не только мастер живописного изображения, но и искусный рисовальщик. Вернемся к тому же портрету Бабеля. За цветовой характеристикой следует выразительный рисунок, где виден и глаз театрального художника, угадывающего привычный жест: «Он небольшого роста. Голова сидит на короткой шее, плечи и грудь широкие. Спину держит очень прямо, по-балетному, отчего грудь – очень вперед. Небольшие, подвижные, все время меняющие выражение глаза. Нижние веки поддернуты кверху, как при улыбке, а у него и без. Рот большой. Уголки губ приподняты и насмешливо и презрительно. Нижняя губа слегка выпячивается вперед и пухлая».

Можно думать, что в будущих исследованиях искусства Валентины Ходасевич технику ее живописных портретов сопоставят с приемами «портретов словами». Есть сочинения о рисунках поэтов и стихах художников. Гораздо меньше известно о параллелизме прозы художника и его изобразительных средств. Книга Ходасевич приоткрывает окно в этот неизведанный мир. Ей самой думалось на эту тему: недаром свои впечатления от прозы Бабеля она сравнивает с живописью Гойи.

Иногда В. М. Ходасевич не столько изображает самого человека, сколько передает окружающую его обстановку. Портрет, как в эссе о Всеволоде Иванове, создается средствами натюрморта и пейзажа: причудливая обстановка кабинета и растения, буйствующие в саду, призваны рассказать о хозяине дома.

Перейдя к словесному изображению, Валентина Ходасевич раскрыла и в нем присущий ей артистизм, делающий эту книгу не только свидетельством о литературе и искусстве ее времени, но и событием в литературе.

2

Что сейчас больше всего поражает в этой книге и в ее авторе, в ней раскрывающемся? Праздничность. Атмосфера праздника как бы подготавливается еще первыми впечатлениями детства и юности художницы, от груд «клюкворехов» (словесная находка в духе «дарвалдаев» Белого, которой могли бы позавидовать Джойс или Хлебников), от «веселой жизни» московского простого люда, открывавшейся с Воробьевых гор, от мюнхенского карнавала. Но главное: в книге воссоздана радость искусства, владевшая молодым поколением, смело вторгшимся в живопись и в литературу в начале 10-х годов. Это было особое время. За несколько лет в Москве, в Париже, в других центрах нового искусства возникло множество художественных школ. Люди, которым предстояло ознаменовать начало целой эпохи в искусстве, появлялись сразу пачками (вопреки трафаретному представлению об одиночестве гения он обычно расцветает только рядом с теми, кто ему по плечу). Все они спешат, их как бы незаметно подстегивает история. Валентина Ходасевич, подготовленная умелым воспитанием к тонкому пониманию искусства, заражается этим духом переворота. Учение (и очень старательное, но напряженно-стремительное – в России, Германии и Франции, как у многих ее сверстников) нужно только как трамплин (по возможности короткий) к тому, чтобы как можно быстрее начать создавать свое собственное. Великие эпохи не терпят подражаний и не плодят эпигонов, это приходит потом, когда начинаются длящиеся десятилетиями пережевывания ошелом-

ляющих открытий. Валентине Ходасевич почти девочкой посчастливилось попасть в число первооткрывателей. Искусство навсегда связалось для нее с этим ослепительным, лучащимся праздником открытия нового, и оттого на меньшее потом она не могла согласиться. Она сама себя назвала «веселым художником». Такой она осталась и в своей главной живописной стихии – в портрете, и в постановках зрелищ на площадях и улицах в 20-е годы, в которые она вложила столько изобретательской энергии. Художница, погруженная предшествующим десятилетием в праздник традиционного живописного искусства, становилась одним из создателей нового искусства праздника. Этому изобретению наших 20-х годов предстоит еще большое будущее: его продолжают опыты спортивных феерий, хеппенингов или массовых рок-концертов и телемостов последних десятилетий, когда постепенно искусство все больше выходит на сцену целого города, если не целой планеты (недаром гениальный Пазолини хотел в своем «театре слова» повторить поиски Маяковского и Эйзенштейна, превратившего заводской цех в помещение для своего спектакля). Из записей о Мейерхольде видно, что он воспринимал ленинградский городской пейзаж как обрамление к еще не поставленному спектаклю. Такие спектакли и ставила на ленинградских площадях Валентина Ходасевич со своими товарищами по театральному искусству. Этот опыт оказался плодотворным и для других видов искусства: Эйзенштейн потом вспоминал, что его фильм «Октябрь» многим обязан площадному спектаклю на ту же тему. Неистощимая радостная изобретательность В. М. Ходасевич и других художников, пришедших в 20-е годы в театр, была составной частью сценического чуда тех лет, которое в полной мере еще не оценено.

Ощущение праздничности, буйного веселья, зажигательного задора переливалось через край нового искусства – в самую жизнь людей, его делавших. В каждом из людей литературы, ей близких, Ходасевич отмечает эту черту. Умение Горького включаться в непрерывную, годами длящуюся игру с переименованиями (где В. Ходасевич становится навсегда Купчихой), переодеваниями, фейерверками в буквальном и переносном смысле, отраженную в его письмах к ней, едва ли не всего лучше обрисовано в сцене, где Горький готовит пельмени для домашнего праздника, а хозяин-немец думает, не использовать ли это для рекламы своего заведения. Кажется, что подобное искусство жизненной игры во многом объясняет и длительную дружбу В. М. Ходасевич с А. Н. Толстым. В ее воспоминаниях Алексей Толстой – человек «могучего здоровья, темперамента и энергии. Казалось, что какой-то сказочный дух праздника вселился в него. Иногда даже трудно было сопутствовать ему в неумных затеях и выдумках, тем более что они неслись в каком-то вихревом темпе и требовали немалых физических сил. Он мечтал, чтобы праздником стала ежедневная жизнь каждого человека, и в труде, и в искусстве, и в науке, и в общении людей друг с другом». Этот «сказочный дух праздника» и объединял Ходасевич с Толстым, да и со многими другими героями ее книги и ее времени. Недаром ее не напугали трое молодых людей, вломившиеся в отсутствие Трауберга в его комнату и все там поставившие вверх дном, заперевшись от нее: она еще им и молоток доставала по их просьбе. Один из них оказался Эйзенштейном, двое других из этих веселых ребят были его помощники – Александров и Тиссе.

Здесь современный читатель вправе перебить меня вопросом: а в самом ли деле всегда должно было быть им так весело? Откуда эта веселость бралась в то время (если иметь в виду, скажем, весь период дружбы с Алексеем Толстым – от рубежа 30-х годов до середины 40-х)? Мне думается, что ответ на это – в природе искусства, и особенно в природе искусства первых десятилетий XX века. Оно было неслыханно буйным, несло в себе заряд сокрушительного веселья, которого хватило надолго. В последний год расцвета портретного мастерства Ходасевич Пастернак пишет «Сестру мою жизнь» – одну из самых радостных лирических книг в мировой поэзии. Потом он перестанет писать стихи – тогда же, когда Валентина Ходасевич бросит портреты; он займется театральными переводами, как она – театральными эскизами. Но когда Пастернак снова вернется к лирическим стихам, в них опять зазвучат радостные ноты,

пусть с оговоркой, «Что мы на пиру в вековом прототипе // На пире Платона во время чумы». Пусть пир во время чумы, но все равно – пир, все равно праздник.

Позволю себе отступление, касающееся не искусства, а науки о нем. Те десятилетия, о которых я сейчас говорю, породили не только праздничное искусство и искусство праздника – площадного (особенно в 20-е годы) или домашнего (дома или «на пленэре», скажем, у озера Селигер, праздник задержался еще надолго). В те же годы родилась и теория карнавального праздника. Ее создателем у нас был М. М. Бахтин, теперь ставший едва ли не самым широко-читаемым в мире литературоведом. Мне довелось знать М. М. Бахтина на протяжении последнего десятилетия его жизни. Я от него самого слышал, в каких условиях писал он свою книгу о карнавале и Рабле, пышущую раблезианским весельем, подлинным «веселым знанием» Телемской обители. Нельзя придумать обстоятельств, которые хуже всего вязались бы с темой книги и с ее жизнерадостным исполнением. Сколько бед пережито только что, какие еще пушище грозят! А ученый, лишенный многого – дома, крова, здоровья, покоя – и ждущий еще больших лишений, пишет эту изумительную книгу, которая навсегда останется памятником мощи человеческого духа. Когда читаешь у В. М. Ходасевич (и у других очевидцев, оставивших свои письменные свидетельства) о невыносимой скудости быта, служившего фоном для великого искусства рубежа 10 – 20-х годов, невольно задумываешься: а не так ли всегда было с лучшими образцами человеческого искусства с самого его начала? Ведь и те безымянные гении, которых мы знаем по их наскальным фрескам в пещере Ласко, жили более чем скромно. То невнимание к своему бытовому устройству, которое В. М. Ходасевич в себе отмечала, вязалось со всем ее обликом художника; она оставалась изобретателем, а не приобретателем. Когда было нужно, она и ее друзья не покладая рук работали над декорациями, падая в обморок от голода и усталости, но продолжали работать. Это тоже была черта поколения. Мне случилось как-то в 50-е годы засидеться за разговором в мастерской у Р. Р. Фалька. Он извинился передо мной и сказал, что сейчас должен при мне пообедать. На обед было несколько вареных картофелин и кусок черного хлеба. На еще более жестком голодном пайке был много лет Филонов – он был близок к истощению еще до начала блокады, которая почти сразу оборвала его жизнь.

Мой предполагаемый оппонент и здесь может прервать меня, спросив: что же, не надо ли обречь художников на условия ледникового периода в надежде, что они сразу же создадут шедевры? Нет, хотя искусство – род послуха и подвижничества, но не сводится к нему. Отрицательный ответ на вопрос оппонента очевиден, и он следует из сказанного выше об относительной самостоятельности искусства, его свободе от сиюминутных обстоятельств времени и места. Но настоящее искусство всегда соотносено с направлением истории. Оно равноправно с ней, ей равновелико, угадывает ее ход. Многие крупные поэты в 10-е годы говорили о ветре, дующем из будущего: этим и определялся невиданный уровень тогдашних художественных открытий. Искусство начала века встало над Россией и Европой зарей-знамением наступающего удивительного столетия со всеми превращениями, которые оно сулило. Отец Валентины Ходасевич учил свою дочь – еще совсем девочку – не бояться пожара, раз это зрелище красиво. В этом, как и в других уроках, касавшихся искусства, В. М. Ходасевич была ему верна. Не боялась красивого (не «красивенького»!) пожара, опасного и высокого зрелища, всматривалась в него, стремилась – особенно в массовых спектаклях – средствами своего искусства создать не подобие его – она чуждалась иллюзорности, – а внутреннее соответствие по духу. Праздник, оставаясь явлением эстетическим (а оттого судимый только судом искусства), самым своим кроваво-огнеметным напряжением отвечал темпу и размаху происходящего. Это не сама эпоха, а ее огневые отблески, но зато какие яркие!

Эпоха сдвигала привычные представления во всем – в искусстве, науке, технике, политике, быте. Каждая из этих областей перестала быть независимой именно потому, что все было перебаламучено. Иногда сообщаемый в книге штрих – такой, как разработанный Коллонтай проект декрета Соннаркома о законодательной отмене ревности, текст которого Горький пока-

зал В. М. Ходасевич, – сразу освещает и биографические конфликты, касающиеся многих людей того времени, и целые вырастающие из них произведения, как «Про это» Маяковского. Эстетика праздника, веселой бури, высокого пожара иногда шла вразрез не только с привычным бытом и его устоями, но и с обычными чувствами. Оттого, читая окрашенные в другой, нарочито непраздничный колорит короткие главки или просто упоминания о последующих годах, начинаешь думать: не было ли причин, способствовавших крушению праздника, его иссяканию, в самой этой эстетике, помимо всем известных обстоятельств внешнего по отношению к искусству характера?

3

В 10-е годы, когда заново переплавлялись и литература, и искусство в том тигле наступавшего XX века, где вскоре предстояло побывать и самой истории, разные виды духовной деятельности были друг от друга неотторжимы. Их контрапункт, взаимопересечение понял умом и сердцем Блок, пишущий об этом в предисловии к поэме «Возмездие». Это единство по отношению к литературе и разным видам искусства воплощалось и биографически. Присмотримся к тому, как обнаружится оно в книге В. М. Ходасевич на примере Маяковского.

Первый раз совсем юная Ходасевич, начинающая учиться живописи, слышит, как Маяковский на скучнейшей выставке в Училище живописи, ваяния и зодчества ниспровергает серое в искусстве: «Совершенно неожиданно – „гром с небес!“ – сверху, с хоров, несется прекрасно поставленный голос. Поначалу я даже не разобрала, что вещал этот сразу разогнавший туман скуки освещающий глас. Я подняла голову и увидела очень бледное, необычайно белое лицо и колонноподобную, как у античных статуй, шею. Засунутые в темные провалы под бровями, серьезные, гневные, повелевающие глаза. Он смотрел вниз, в зал. На нем была черная бархатная блуза и странно повязанный, вместо галстука, шарф, на лоб свисали прямые очень темные волосы, которые он время от времени сгребал рукой назад. Он громил выставку, бесцветное, ничего не говорящее искусство, призывал к новому видению и осмысливанию мира». В этом двухцветном (черно-белом) «портрете словами», искусно соединяющем зрительное впечатление со слуховым, есть одна удивительная деталь: «колонноподобная, как у античных статуй, шея». Сравнение взято из реквизита тех самых академических занятий, которые громил Маяковский. Словесное портретное мастерство Ходасевич сказалось уже в том, что в описание новизны облика Маяковского и его взгляда на живопись она включила эту подробность, оставляющую нас в кругу образов традиционного искусства.

Ходасевич описывает себя тогда как единомышленницу Маяковского. Во взглядах на искусство, сложившихся окончательно именно в те годы, она осталась верна своим юношеским убеждениям до конца: «Творчески видеть, понимать, отбирать и осваивать интересующие тебя явления окружающего мира, уметь найти главное, а остальное отбросить, уметь увидеть и отобразить свои мысли и чувства, передать то, что хочется, рисунком, краской, композицией, а не копировать то, что физически видит наш глаз, – вот что должен развивать в себе художник на протяжении всей жизни. И нет конца поискам и экспериментам, а ведь это поиски себя и создание своего мира, в реальности которого, в случае таланта и удачи, ты можешь убедить и других людей». Валентина Ходасевич по этому поводу говорит о первооткрывателях. Среди них पहले других в ее поколении был Маяковский. Сохранился его автопортрет, где голова в цилиндре – одновременно и городской пейзаж. Он сумел передать новую тему большого города путем предельного самораскрытия.

Следующая встреча с Маяковским – в 1913 году, когда Ходасевич 4 декабря присутствует на первом представлении трагедии «Владимир Маяковский» в «Луна-парке». Тот же черный цвет, что и в первом «портрете словами», и, как и в нем, Маяковский «кажется стоящим высоко»; второй портрет – на сцене – продолжает первый; она и сама замечает: «одет

как в жизни». Ходасевич разгадала идею оформления спектакля, выполненного Филоновым и Школьником (это ведь еще за несколько лет до ее первых собственных театральных опытов): она поняла «как зашифрованный подтекст, что Маяковский на сцене был единственным объемным персонажем-человеком. Остальные действующие лица, одетые в балахоны, закрывающие лица и фигуры, носили на палках нарисованные на картоне плоскостные изображения персонажей трагедии».

Так с Маяковским у Ходасевич связалось сперва отрицание всего серого в живописи, потом – такое оформление спектакля, которое потрясло: оба те вида искусства, которыми суждено было ей заниматься, встроены в эти первые впечатления. После 1914 года, когда Ходасевич знакомится с Маяковским, она встречается его на выставках. Подробнее другая описана выставка в салоне Михайловой, где вентилятор должен был привлекать публику к выставленной Маяковским композиции с подписью «Владимир Маяковский»: двум старым башмакам, связанным вместе и подвешенным на кронштейне, и водочной бутылке на полке. После описания скандала, немедленно вызванного Маяковским, Ходасевич замечает, что Маяковский был «неповторим, искал и показывал в своих произведениях пути избавления искусства от скверны пошлости и штампа».

Я уже говорил о бахтинской теории карнавального праздника. Она объясняет, почему для него нужно не просто озорство – хулиганство: непристойное слово, неприличное или, во всяком случае, выходящее за рамки хорошего тона изображение. Без этого на празднике не будет ощущения свободы. А это то слово, которое у В. М. Ходасевич сопрягается с именем Маяковского.

Следующий – откровенно черно-белый («пиджак черный, рубашка белая, брюки в мелкую клетку, черную с белым») – портрет Маяковского в книге Ходасевич приурочен к его неожиданному приходу к ней домой; он зовет ее (велит ей?) расписывать помещение, где собираются открыть «Кафе поэтов». Замечательны – передают связывавшие тогда их обоих настроения – слова Маяковского, напутствие художнице: «Валяйте поярче и чтобы самой весело стало!»

Глава, описывающая Маяковского в Париже в 1924 году (где колорит портрета меняется: «экстравагантностей в цвете одежды ему уже тогда было не нужно»), среди остроумных и блестящих зарисовок включает и разговор с Дягилевым о постановке «Всемирного обозрения» (как я помню из устного рассказа Ходасевич, Маяковский думал о революционном ревю). В жизни Ходасевич и в ее книге выполняется любимое ею правило: ружье, раз уж оно есть, стреляет. Последнее, над чем ей пришлось работать вместе с Маяковским, впервые делая оформление к его тексту, и было подобием ревю; эту вещь («Москва горит») он сам назвал «героической меломимой», ее ставил С. Радлов (с которым Ходасевич вместе сделала столько спектаклей) в московском цирке. Если в трагедии, увиденной за семнадцать лет до того, темой и был сам Маяковский, трагизм которого тогда потряс юную художницу, то теперь спектакль, его тема и сам Маяковский не в ладу друг с другом. Последняя встреча. Цвета как бы из того первого словесного портрета: «Одет он в черное пальто, черная шляпа, лицо очень бледное и злое». Ритм палки, которая и во всех предыдущих главках была в руках у Маяковского, становится в этой главе непереносимым. Нервы у Маяковского, автора и читателя напряжены до крайности.

Сохранились и напечатаны записи нескольких людей искусства – Довженко, Дзиги Вертова, которых, как и Ходасевич, Маяковский видел перед самоубийством и с которыми, как и с Ходасевич, уславливался о свидании на роковой день. Ее зарисовка, точная в самом отсутствии понятных объяснений поведения Маяковского, многое проясняет для каждого, кто вдумывается в картину этих последних дней. Сколько заключено в переданных ей словах поэта: «Все мне говорят „нет!“... Только нет! Везде нет...» Стенография голоса поэта убеждает в подлинности рассказа.

Мы видели, как разбросанные по книге главки, где появляется Маяковский, объединены проходящими сквозь них едиными ощущениями – цветовыми и вообще зрительными, слуховыми, и на фоне этих сходных, почти постоянных образов начерчен портрет человека порывистого, страстного, непрерывно меняющегося – вплоть до капризности, до вздорности. Как в музыкальном сочинении, темы продолжают, развиваясь. Уже в трагедии 1913 года намечена та тема, которая, уйдя со сцены – прочь из театральных сочинений Маяковского, в том числе и из «героической меломимы», – перейдет в его жизнь и реализует старую строчку:

Все чаще думаю: не поставить ли лучше
Точку пули в своем конце.

Маяковский вплоть до последней сцены с ней тоже играет, но свою трагическую роль: и он из тех на пиру, кто с него не вернется.

Портрет Маяковского содержится не только в тех посвященных ему непосредственно главах, которые я выше пересказал близко к тексту, удерживаясь от искушения переписать целиком: лучше не скажешь! Маяковский рассыпан и по тем главам, где рядом – его друзья и соратники, как Каменский, Шкловский. Без выходов Каменского и Татлина на той же выставке в салоне Михайловой не понять и то, что на ней показал Маяковский. Маяковского вообще – не только молодого, но и позднейшего (Ходасевич права, когда говорит, что и «сейчас еще жизнь домысливает и углубляет сказанное Маяковским» в его трагедии «Владимир Маяковский») – нельзя вырвать из той атмосферы стремительных открытий во всех видах искусства, глашатаем которых он был.

4

Трудно переоценить значение книги В. М. Ходасевич для историка нашей литературы да и для каждого, кто неравнодушен к ее судьбе в первой половине XX века. Прежде всего думаешь о фигуре Горького. Ходасевич написала ее, со вершив опыт почти полного перевоплощения в изображаемого. Она не просто страдает ему в несчастьях, которые, как в шекспировской трагедии в финале – к моменту трагической гибели сына Горького Максима, – сыпятся градом, – она как будто временами становится им самим, даже когда другому – а иной раз и ей самой – пришло бы в голову в чем-то усомниться, она все равно на его стороне. Оттого редкие несогласия с ним, как после соловецкой его поездки, так заметны и многозначительны. Живя или часто бывая в доме Горького годами, Ходасевич стала близким ему человеком, близка с его близкими. Она передает саму домашнюю среду, которую он всюду возил с собой и без которой не мог работать. Здесь в каких-то подробностях я по своим собственным воспоминаниям, например, об Иване Николаевиче Ракиц-ком – человеке-сейсмографе, всем телом чувствовавшем мировые катаклизмы, – ручаюсь в достоверности памяти Валентины Михайловны. Не только каждый из тех чаще всего странных и чудаковатых людей, которыми любил себя окружать Горький, обрисован с любовью, все они вместе – часть написанного ею широкого полотна – «Горький и другие». Даже простое перечисление людей, которые приходили на Кронверкский или потом, в 30-е годы, к Горькому, сообщает немало и о хозяине дома, и о самих этих людях. Очень интересна, например, пара «Горький и Шкловский». Степень их близости к началу 20-х годов свидетельствуется и другими воспоминаниями. Но из переданной В. М. Ходасевич забавной истории о том, как Шкловский растерзал одолженный им у Горького том «Тристрама Шенди» Стерна, следует и другое: исследование Шкловского об этом романе, составившее позднее одну из главных частей его «Теории прозы», писалось по этому экземпляру русского перевода (тогда представлявшего библиографическую редкость). На рубеже 10 – 20-х годов Горький поощрял все смелое и молодое, появившееся и в искусстве – о его стараниях понять

тогдашнюю живопись пишет Ходасевич, – и в литературе, и в науке о литературе. Позднее многое переменялось. В. М. Ходасевич знала об этом, но о некоторых вещах просто не хотела писать. Еще до того, как она занялась своей книгой, в первые послевоенные годы, Ходасевич мне говорила решительно, что никому и никогда не расскажет об известных ей причинах ссоры Горького с Маяковским. Она выполнила это свое решение, и потому, видимо, у нее Маяковский вообще отсутствует в перечислении тех, кого она видела на Кронверкском. Сравнивая письменный текст книги со многими устными рассказами, которые мне довелось слышать от В. М. Ходасевич (главным образом летом 1949 года), я вижу, что она ограничивала себя по разным причинам. Кое-что могло ей показаться лишним и излишне экзотичным, как рассказ об обезьянках, одно время обитавших в комнатах Горького в Сорренто. Вспоминаю об этом не потому, что это существенно. По этому и другим примерам видно, что В. М. Ходасевич строго следовала своему правилу жесткого художественного отбора. Совсем не все, что она по мнила о Горьком, вошло в книгу. О многом приходится пожалеть. Может быть, излишняя скромность удерживала ее порой от передачи доверенных ей заветных мыслей Горького, – например, о значении «Клима Самгина», который, по его мнению, только много спустя будет понят читателем, о его разговоре с Уэллсом в Горках, о его настроениях декабря 1934 года. Но и при всех тех проявлениях (для меня, помнящего ее всегда острые рассказы об этих и многих других эпизодах жизни Горького) саморедактирования и самоцензуры автора все то, что она рассказывала в книге, неопределимо для будущих опытов восстановления полной его биографии. Каждый сообщаемый ею факт драгоценен. А рассказы о посетителях Кронверкского по-новому освещают не только жизнь самого Горького, но и его роль в годы гражданской войны.

Не приходится сомневаться в том, что Горький, особенно все сделанное и написанное им в первые революционные годы, станет предметом все более многочисленных разысканий, где, как и в книге В. М. Ходасевич, он предстанет во всех своих иногда поразительных противоречиях, с огромными человеческими достоинствами и не меньшими слабостями (не скрывать их, хотя бы нечаянно, когда пишешь о людях больших и тебе близких, так трудно; Ходасевич по большей части избежала этого). Понимая ответственность темы, здесь Ходасевич стремилась к предельной документальной точности, оттого в книгу включены тексты стольких писем Горького с характерной тяжеловатой и порой витиеватой неуклюжестью его шуток и просвечивающей сквозь них неподдельностью его отношения к Ходасевич.

Каждый из писателей, проходящих в книге перед взором пишущего и читающего, обрисован по-своему. Ни один из портретов ни в чем не повторяется, для Бабеля найдены совсем иные краски, чем для Алексея Толстого. Опять-таки я знаю по устным воспоминаниям В. М. Ходасевич, что Бабель поверял ей то, о чем мало с кем говорил: замысел последней задуманной (и, видимо, частично написанной) им книги, объяснявшей и некоторые его знакомства поздних лет его жизни, многих удивлявшие. Валентина Михайловна рассказывала, как она оставалась у Бабеля в последний свой приезд к нему. После завтрака собралась идти по делам, оказалось, что им по пути, вышли вместе. Когда дошли до первого перекрестка, Бабель сказал, что ему в другую сторону, и стал с ней прощаться. Валентина Михайловна удивилась, напомнив ему, что он собирался идти с ней вместе. Он возразил, что не может все время говорить правду даже по поводу того, куда идет, это было бы слишком скучно. Почему такие рассказы не вошли в книгу В. М. Ходасевич? Скорее всего, она избегала скопления эксцентричностей. И так люди литературы, о которых она вспоминала, отличались странностями. Ей не хотелось их множить, возможно, особенно по отношению к писателям с трагическими судьбами, а ведь и таких среди героев книги немало.

Рядом с такими, которым, как Бабелю, Шкловскому и Всеволоду Иванову, посвящены особые портреты, и с писателями, которые, как Горький, Маяковский, Алексей Толстой, проходят чуть ли не через всю книгу, есть и появляющиеся только в отдельных эпизодах – нескольких, как Василий Каменский, и только с ними связанных, как Волошин. Иные встречи только

намечены пунктиром, как с Ахматовой. Из тех, о ком Валентина Михайловна успела написать обидно мало, отмечу ее дядю, видного поэта чье столетие исполнилось в 1986 году. Совсем остался за пределами написанного Андрей Белый. Возможно, это объясняется тем, что чаще всего и больше всего В. М. Ходасевич общалась с ним в едва ли не самую тяжелую для этого значительного писателя пору – в Берлине, вскоре после того, как от него ушла Ася Тургенева. Валентина Михайловна рассказывала мне, как, сидя в берлинском ночном кафе за столиком с ней, Белый объяснял, что с ней сидит только один Андрей Белый, другой танцует в том же зале, третий – на люстре и т. д. Этот рассказ мне всегда казался пояснительным текстом к известному портрету Андрея Белого Ольги Форш, где изображено одновременно несколько ликов Андрея Белого.

Но не буду умножать списка вольных или невольных пропусков в этой книге. Каждый вспоминающий имеет право на невспоминание или неупоминание. А одну из замышлявшихся книг – «Портреты словами», куда должен был войти среди других и более подробный портрет академика П. Л. Капицы, и очерки, посвященные другим ученым и писателям, – В. М. Ходасевич только задумала, но успела написать лишь фрагменты, включенные (как портрет Бабея) в эту книгу.

Книгу Валентины Михайловны Ходасевич отличают наблюдательность и остроумие, верность увиденному и здравый смысл. Дитя своего века, она была достаточно уже умудрена жизненным опытом, чтобы с присущей ей иронией посмотреть на многое в своей молодости и в юности столетия. Ей хотелось, чтобы ее поняли, оттого она писала ясно и там, где речь шла о самых сложных проблемах искусства века. Ей хотелось четко сформулировать продуманные за многие годы мысли.

Ее книга современна независимо от дат написания отдельных глав и от времени, которое она описывает. То искусство и та литература, часть которых составляет жизнь Ходасевич и ее книга, навсегда останутся современными.

Вячеслав Вс. Иванов

ВСТУПЛЕНИЕ

Пословица «На ловца и зверь бежит» может служить эпиграфом к моей жизни. Всю жизнь на меня «бегут» странные люди и странные стечения обстоятельств. Если бы я была пессимистом, то решила бы, что живу в противном, безумном мире, но я оптимист, так как и сама из породы чудаков.

О работе, о прекрасных людях, о дружбе, о радостях и горестях, о взлетах и падениях; об ободрениях и разочарованиях; о любви, ненависти и ревности; об упрямстве и настойчивости; о лени и трудолюбии; о самокритике; о доброте и злобе; о жестокости и жалости; о несдержанности и раскаянии; о жадности и щедрости; о фальши и искренности; о правде и лжи; о чувстве долга; о преданности, о зависти, о брезгливости, о несдержанности, об отсутствии дипломатических способностей, – в общем, о разных человеческих чувствах эта книга. Некоторые из хороших чувств многими утеряны, и нужно о них напомнить.

У каждого человека – своя книга жизни. У одних в ней больше страниц, у других – меньше. Моя книга еще не кончена...

Теперь, когда самые близкие мне современники и спутники навеки успокоились (и я сама близка к этому), могу подвести кое-какие итоги и сделать выводы. Во многом признаться самой себе – посмотреть на себя со стороны.

Интерес и любовь к жизни, работе, живописи, литературе и остроумию привил мне отец.

Любовь к людям, доброте, отзывчивость и юмор – мать.

Любовь к поэзии и остроумие – мой дядя Владислав Ходасевич, он был на девять лет старше меня.

Начальные знания в рисунке – художник Павел Павлович Пашков.

Первые шаги в живописи и знание истории искусств – художник Федор Иванович Рерберг.

Основные знания по анатомии преподавал хирург и искусствовед Сергей Иванович Голоушев (Сергей Глаголь).

Писала раньше портреты красками – теперь словами. И все же каждого, о ком говорю в этой книге, вижу живописным портретом, который я никогда не писала.

Начав работать в театре, утратила технику живописи и свою манеру – появилась новая, театральная, но умение видеть живопись осталось.

Иногда в работе мешал груз знаний и аналогий, а также чувство, что не находишь или теряешь себя. Хотелось все скинуть, «раздеться», «опроститься» и довериться, не мудрствуя лукаво, внутри себя существующему художнику. Но это не так просто! Слишком многое прилипло иросло. Желание было, но не в нужной для высвобождения мере.

Только теперь (раньше ни способностей, ни времени для этого не было), еще робко, начиная уметь анализировать и многое «открываю» вновь или по-новому. А времени остается мало, и поэтому от многого отмахиваюсь – все равно не успеть! Утешаюсь тем, что все люди еще так далеки от познания Начала Начал, причин, формы и функций мироздания и самих себя, что нечего мне огорчаться. В отношениях между людьми правдивость и искренность – это те редкие радости, которых мне не хватает на последнем этапе жизни, и я это с трудом переношу. Ложь может быть разная: во благо и во зло, вроде как войны – справедливые и несправедливые. Я думаю, что в идеале их вообще не должно быть.

Очень часто мне бывало интереснее общаться не с художниками, а с писателями и актерами. Но самые большие две любви были с художниками, хотя обе были несчастливymi. Любовь художника к художнику трудна, ибо невольно подчиняешь любимого своей художественной вере или подчиняешься ему. И то и другое вредно для искусства и морального здоровья.

В жизни я встретила много замечательных людей, общение с которыми безусловно воздействовало на меня и формировало мои мысли и чувства. Встречи эти прошивают мою книгу, как наметка крепкими стежками, которые то пропадают – идут с изнанки, то вновь возникают. О Горьком, Маяковском и Татлине пишу больше, чем о других примечательных встречах, потому что их воздействие на меня было большим.

Я уверена, что люди, общаясь между собой, к каждому поворачиваются под особым углом. С некоторыми людьми жалко было – и будет – расставаться. Одни ушли, другие останутся, а уйду я.

О плохих людях пишу мало – уж очень их много, а их гадкие поступки однообразны и широко известны. Ими много занимались лучшие умы человечества и облекали их пороки в великолепные литературные формы. «А воз и ныне там!»

В этой книге о многом рассказываю откровенно. Кое в чем каюсь. То, что считаю полезным для сведения других, записала без вранья.

Надеюсь, что взрослым младшего возраста будет интересно – как и что было, когда их еще не было, а старики вспомнят свою молодость и жизнь...

Я писала эту книгу вразброс: то вроде конспекта-дневника, то более подробно. Все больше мешает закон «дальней» и «ближней» памяти.

Навести «благополучный» порядок не хочу и не получится, да и надо ли? Бывает, что от благополучной формы теряется эмоциональность. Ведь я от рождения – художник.

Читатель иногда будет себя чувствовать на карусели или на «американских горах» – столько пронесется разного и заморочит голову. А мне каково было! Да и сейчас жизнь протекает с завихрениями...

НАЧАЛО ПУТИ. ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

Детство. Годы учения

Конечно, счастливое, потому что у меня очень хорошие и умные родители. Тихая мама и очень бурлящий, захлебывающийся жизнью отец. Нас трое – мы очень любим друг друга. Каждый час, каждый день, каждый год приносит новые открытия в мое познание мира. Программа моего детства, задуманная моими родителями, сложна, трудна и для родителей, и для меня, но очень интересна. Я им навсегда за это благодарна. Толком я им этого не сказала – всегда была слишком скрытной, стеснялась выражать свою любовь. Может, боялась расчувствоваться. Маленькая спасительная надежда, что они это знали. А в общем, я вечный их должник. Каюсь.

* * *

«Клюкворехи! Клюкворехи!» – кричит звонкий мужской голос и врывается в открытое окно вместе с гроыханием по булыжнику железных ободов колес телеги, въехавшей во двор небольшого двухэтажного дома (на углу Кисловского переулка и Никитской). Сегодня утром открыли рамы окон, вынули грязную вату, вымыли стекла, и все взрослые говорили: «Как рано в этом году пришла весна!» Все за окном казалось необычно четким и ярким. Спрашиваю маму: «А глазки мне тоже промыли?» Я влезла на подоконник и смотрю вниз на телегу. Мама держит меня за платье, чтобы я не упала (мне года три). Вскоре загадочное слово «клюкворехи» делается понятным – из окон других квартир высовываются головы жителей, и они кричат: «Почем клюква? Почем орехи?» Потом я вижу этих людей во дворе с мисками и корзинками. Возница, прыгнув с телеги и закинув на нее вожжи, говорит лошади: «Тпру, стой, милая!» Он в картузе, в поддевке, под ней светлая рубашка-косоворотка. Сильным рывком он откидывает золотистую рогожу, служащую покрывалом для клюквы и орехов. Запах рогожи, как новый, доходит до меня и запоминается на всю жизнь. На телеге две груды разного цвета. Одна – золото-коричневая – вологодские орехи, вторая – густо-красная и блестящая – клюква. Мама говорит: «Ну, пойдем и мы вниз, купим орехов и клюквы – ты ведь орешки любишь!»

Квартира наша – две комнаты и кухня, потолки низкие, окна маленькие. Папа каждый день куда-то уходит и возвращается «худенький, бледный, усталый» (это мамины слова) и не хочет сразу же читать мне книжку – говорит: «Вот отдохну немного, а потом...» И мне кажется, что я жду очень, очень долго, пока наступает это «потом». Повеселевший папа берет книжку, сажает меня на колени и начинает... Читает он очень выразительно, я иногда смеюсь, но чаще заливаюсь странно приятными слезами – чего-то жалко... Действуют больше интонации, а не смысл, ибо книжки не всегда рассчитаны на мой возраст. Папа читает мне сказки Пушкина, Андерсена, братьев Гримм и Перро, «Конька-Горбунка» Ершова, былины, «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, «Лесной царь» Гёте...

Мама (она полка) тихим, спокойным, ласковым голосом, с протяжными интонациями говорит: «Миша-а, опять ты доводишь нервного ребенка до слез!»

Весна уже в разгаре – солнце греет. Гуляем с мамой, она мне покупает туго связанные круглые букетики ярко-голубых незабудок, и мне кажется, что они смотрят мне в глаза, как моя кукла. Дома мама берет глубокую тарелку, спускается во двор, набирает из кучи в тарелку оранжево-желтого песка и возвращается. Любопытно – что же будет дальше? Мама говорит: «Смотри: в песок сажаем незабудки, и, если ты не будешь забывать каждый день поливать их,

они вырастут большие, высокие, и у твоих кукол будет зелено-голубой сад на подоконнике». С тех пор я люблю незабудки.

Мне было года четыре, когда я, по кубикам с буквами алфавита, научилась читать. Конечно, незабываемым осталось счастье, когда вдруг, впервые, из двух букв М и А получилось МА и еще МА, а вместе получилось: МАМА! А потом ПАПА! Постичь это было не легко. Приоткрывалась щелка в великий мир познаний. А главное – путь в самостоятельное мышление!

Все чаще слышу, что папа кого-то «защищает» и что он опять «выиграл дело». Иногда мама снимает со шкафа чемодан и кладет в него папины носильные вещи и какие-то мелочи. Она грустно говорит: «Миша-а, все готово. Фрак я уложила. Желаю тебе удачной защиты. Возьми на вокзал извозчика. Нас не забывай». Папа как-то особенно нежно берет меня на руки, прижимает к себе, целует... А мне приятно, приятно, и я не понимаю, почему у меня щекочет в носу и начинают капать слезы из глаз. Я так ясно помню это, что и сейчас у меня щекочет в носу и сжимает горло, а слезы я научила, за долгую жизнь, не всегда выкатываться из глаз. Жилось мне в ту пору радостно, ласково. Не помню, чтобы меня наказывали – это пришло позднее.

Я очень любила родителей, но мое отношение к Владе (Владислав Ходасевич, младший брат отца, старше меня на восемь с половиной лет) было совершенно особенным. Он так мал ростом, что бабушка вздыхает – уж не карлик ли? А для меня – любимый и закадычный друг, хотя строг и бывает жестоким. Не было ничего, что я бы не сделала по его приказанию. Родители, помню, говорили, что Владя для меня «царь и бог». Это звучало загадочно, ибо я не понимала ни первого, ни второго слова. И если я упрямилась, мама говорила: «Владя, скажи ей...» А я ему говорила: «Ты же мой царь и бог – поиграй со мной», или позднее: «Царь и бог! У меня не получается, сколько будет пять и три, – помоги!»

Владя жил у своих родителей, но ежедневно бывал у нас и все свободное от гимназии время проводил со мной. Он мне читал, или мы играли «в театр» – делали декорации для несуществующих пьес.

Так я научилась воображать то, чего никогда не видела.

С малых лет отец помогал мне понять, что такое добро, зло и труд. Он говорил: «Каждый человек обязан трудиться. Вот и тебе придется – чем раньше начнешь, тем лучше». Мама иногда огорченно говорила отцу: «Уж очень ты и Владя перегружаете ребенка ей непонятным. У нее от этого, должно быть, каша в голове!» – «Какая каша?» – спрашивала я, прыгая вокруг мамы, а мама, ласково прижимая меня к себе, приговаривала: «Какая глупышка!»

Начался период «отчего, почему и что это такое?» (и по сей день вопросов не меньше и тоже ответы не всегда удовлетворяют). Я росла, и мир для меня расширялся. Много очень интересно – ведь почти все «в первый раз». Ночью снились необычайные сны: я падала в бездны и много блаженно летала. Дни длились бесконечно долго, каждый приносил новые познания, желания – открывались новые тайны. Большинство желаний осуществлялось. Я думала, что так будет всегда.

Помню первую поездку – в Курск к тете Мане (мамина сестра) и дяде Саше Светлицким. Он директор Государственного банка. У них двое детей – Люся (на два года старше меня) и Боря (на три года). При доме (особняк) огромный фруктовый сад. Лето. В саду поражает обилие ягод и фруктов: яблоки, груши, сливы, синие и желтые, еще не успели (взрослые говорят: «Им еще надо наливаться...») Чем? Почему, как?). Были большие пикники со знакомыми. Ехали на озеро ловить раков – на линейках. Снасти рыболовные и для раков, что-то вроде странных корзин из сетки и ободов. Все очень интересно, но опять же непонятно, а так хотелось бы знать! «Почему? Зачем? А как это делается?» – так и сыпалось из меня, и отец даже сказал: «А тебе не стыдно? Только и слышны твои „почемушки“. Раков наловили много, да и рыбы. Самое интересное дальше, когда ехали по степи обратно – уже ночь, прохладно и страшновато.

Держусь за маму и папу, чтобы не вытряхнуло из линейки. Не сплю, хотя очень хочется, вдруг вижу необычайное: упала с неба звезда, прочертив на мгновение линию падения, и на землю – ну прямо тут, почти рядом, за обочиной дороги... Кричу: „Стойте, стойте, звезда упала – чур моя!“ И, к моему негодованию, линейку не останавливают, тогда я хочу спрыгнуть на ходу, но родители цепко держат и уговаривают утихнуть, объясняя, почему я не найду эту звезду. Не очень верю, а тут, как на грех, еще одна звезда падает, и опять все равнодушны. До чего же бывают эти взрослые непонятливы и капризны, не хотят, чтобы я нашла звезду!

Отца по делам вызвали в Москву. Хоть меня и подготавливали тщательно и осторожно к этой новости, но ведь я никогда еще не расставалась с мамой, а когда папа уезжал «на защиту», и то свербило в носу и слезы лились, а расстаться с мамой – этого вообще не может быть! А маме не ехать нельзя: ведь папа у нас больной – «припадки» (и это непонятно – я их никогда не видела, хоть и очень хотела).

Мама за мной приедет, а я должна остаться. Это уже совершенно невероятно! Нас угомонили спать...

Утром тетя позвала завтракать, я сразу же спросила: «А мама?» – «Они уех...» Я не дослушала, бросилась на улицу с дикими воплями, бежала по пыльной дороге, сердце разрывалось, я упала. Очнулась в постели. Мне небывало плохо – говорят, что заболела желтухой.

Маме послали телеграмму, и она приедет. Я не верила и ненавидела всех за «предательство и надувательство», как я для себя определила. Вся я и белки глаз желтые. Доктор сказал, что это нормально... Неужели навсегда? Мама действительно приехала дня через четыре (пока в Москву и обратно, поезда ходили тогда медленно). Болела я при маме очень долго. Ничего вкусного. Когда разрешили в сад, я наелась там всяких зеленых фруктов – до сих пор помню кисло-горький противный вкус «райских» яблок, а такие хорошенькие, и даже бочок красный. Несмотря на ужас взрослых – обошлось, и мы вскоре уехали с мамой в Москву.

Все перемены в нашей жизни зависели от быстро растущего материального благополучия отца. Он стал одним из лучших юристов Москвы. Из поездок по судебным делам в разные города он привозил мне все больше подарков, и при прощании с ним у меня уже редко капали слезы, я начинала, очевидно, кое-что «понимать в жизни» (думала о подарках), но так и не научилась быть по-настоящему житейски мудрой, прозорливой, расчетливой и корыстной, да и фундамент для этого никто из окружающих меня в детстве не постарался заложить.

Будучи уже зрелым человеком, я начала анализировать, делать выводы по поводу пройденного жизненного пути и поняла, какие у меня были замечательные родители, как они меня мучительно любили и как я недостойно мало отвечала им. Какой нежной, всепрощающей и ласковой была моя кроткая мать. Как она меня охраняла от всяческих невзгод и пыталась смягчить крутой нрав отца, который у него проявлялся по отношению ко мне. Но я благословляю и по сей день казавшиеся мне тогда жестокими его методы искоренения дурных черт моего характера. В основном это было упрямство, а потом прибавилась лень. Чтобы стала понятна жестокость отца, я должна рассказать о трагедии его жизни. Это объяснит и то, почему отец мечтал и добился, чтобы я стала художником.

Дед мой со стороны отца, Фелициан Иванович Ходасевич, был сыном литовского эмигранта, участника восстания 1863 года. Знаю, что дед был художником. Талантом не блистал, любил живопись, но плохо в ней разбирался. У него не было чувства цвета и тона.

Попытки его зарабатывать на жизнь своей семьи трудом художника кончились полуголодным существованием, и дед, решив бросить свою профессию, открыл магазин фотографических принадлежностей в Москве.

В тяжелые времена дед заметил у старшего сына (моего отца) любовь и способности к рисованию. Он стремился пресечь это, боясь, что сын будет влачить такое же жалкое существование, как и он сам. Мой отец рассказывал, как нещадно он бывал бит, когда дед обнаруживал, что его учебники и тетради испещрены рисунками. После порки ремнем дед гнал

сына по лестнице на чердак, бросал ему веревку и говорил: «Иди и там удавись – я не хочу пачкать руки!» Попад на чердак, отец падал на пол – у него было ощущение, что он летит куда-то, терял сознание... Впоследствии выяснилось, что это были припадки эпилепсии, которыми отец страдал потом всю жизнь.

Я помню деда и бабушку в их небольшой квартирке в Камергерском переулке, во дворе. Дед обычно сидел за мольбертом с муштабелем, палитрой и кистями в руках, копируя картину «Коперник» с копии, сделанной им же в Румянцевском музее. Одним словом, как говорил отец, он делал «копии с перекопий». Пятерых своих детей он уже одарил «Коперниками» и заготавливал впрок внукам. Писал он иногда и с натуры бездарную вазочку с воткнутым в нее одним или двумя цветами – любил нарциссы и веточки сирени.

Неудовлетворенное страстное желание отца быть художником привело к тому, что, когда я родилась, он задумал осуществить свою мечту во мне. Тщательно разработав план воспитания во мне художника, планомерно проводил его в жизнь. Этому он закладывал прочный фундамент: показывал и учил внимательно присматриваться к жизни, творениям искусства и природы. В моем обиходе были книги с картинками и репродукции с картин разных художников или живые игрушки дома: кошки, собаки, птицы, рыбы, белые мыши, за которыми он меня учил ухаживать и устанавливать с ними хорошие отношения. Как было радостно, когда вся эта живность отвечала мне взаимностью и я многому могла их научить!

Терпением ему пришлось запастись надолго – пока появились первые реальные результаты. Во мне не только не проявлялись способности, но и нормального, как у всех детей, желания рисовать у меня не было, и только вдруг, уже лет в десять, во мне бурно и непреодолимо, на всю жизнь, возник художник. Из-за этого в нашей семье было много счастья, но много и горя.

Был обычай 25 марта выпускать птиц на волю. На Трубной площади устраивали птичий торг. Продавали разнообразнейших птиц, даже воробьев. На площади толчея. Невероятный гомон, крик, да и взволнованные птицы болтают невесть что. Я всегда просила отца купить снегиря. Пахло талым снегом, бежали вдоль тротуаров ручейки. Светило солнце, и когда я отпускала на волю купленного снегиря, то долго видна была в небе его алая грудка. Было и жалко, и как-то восторженно. От волнения часто-часто билось и замирало сердце.

Мама тоже, пополняя мои знания, говорила: «Слышишь, какая красивая музыка?» Или: «Как красиво поют!» «Чувствуешь, как пахнет? Понюхай, вдохни! – как дивно пахнет сирень!» Или: «Как гадко пахнет – дыши ртом, а не носом». В общем, они оба помогали мне разобраться в том, что хорошо и что плохо в окружавшем меня мире.

Пожар

Мы еще жили в Салтыковском переулке. Однажды вечером мама раздевала меня, чтобы уложить спать. Это была всегда трудная процедура – я протестовала, ибо мне казалось, что, как только засну, тут-то и произойдет что-то самое интересное, удивительное и «главное» (это беспокойство осталось на всю жизнь).

На этот раз мне повезло – мама еще не успела меня раздеть, как раздался стук в дверь, топот ног по лестнице и крики: «Пожар! Пожар! Бегите на улицу!» Отца дома не было, мама взяла меня на руки, схватила мое одеяло и бросилась на лестницу, где уже было тесно от людей, узлов, вещей. Все это лавиной неслось вниз. Папа встретился нам на лестнице – он пробирался «против течения» к нашей квартире. И мама, и я, увидев его, немного успокоились. На улице я опять было струхнула от невиданного зрелища, но папа строго сказал: «Не бойся! Не важно, что страшно, а ты присмотришься, как красиво, и запомни: если красиво – то не страшно!» И я с интересом стала все разглядывать. В то время я подчинялась и верила отцу. Мои капризы выливались в основном на мою нежную мать.

Выяснилось, что горел магазин «Мюр и Мерилиз» – теперешний ЦУМ. Черное небо как бы вздыхало огнем, стены домов, лица людей то вспыхивали, то угасали. Переулок заполнился «беженцами» и их разнообразным имуществом. Некоторые уже успели вытащить кое-какую мебель в переулок и сидели на стульях. Пожар разгорался, начался ветер, и со стороны «Мюр и Мерилиза» несло теплом, дымом и гарью. Когда ветер усилился, то в небо взлетели какие-то ярко горящие полотнища, как алые знамена, – это горели целые кипы материи, разворачиваясь от порывов ветра. Некоторые куски падали на землю поблизости от нас, и люди шарахались от них, а какие-то смельчаки бежали навстречу, надеясь, что авось не весь материал обгорел. Отец строго наказал нам, чтобы мы стояли на месте, а сам пошел по Петровке – на разведку. Вернувшись, сказал, что приехали пожарные части, пожар заливают, опасности уже нет и можно идти домой. Долго я не могла уснуть – от «красоты», вероятно, но, конечно, и от страха.

Поездка по волге. Рерберги

Я отлично помню, как мы едем на пароходе по Волге. У отца слабые легкие и ревматизм. Врачи посоветовали ехать «на кумыс» в степь под Ставрополем-Уфимским.

На пароходе познакомились с художником Федором Ивановичем Рербергом², его туберкулезной женой Антониной Петровной и их двумя детьми – Ниной и Ваней. Нина моего возраста. Ваня немного старше. (В дальнейшем он стал известным графиком.)

Где мы сошли с парохода и как добирались до места, не помню. Жара. Ясно вижу пустынный, какой-то пересохший сосновый лес – ни зеленого кустика, ни травинки. Земля покрыта толстым слоем пожелтевшей, хрустящей под ногами хвои, а местами бело-серым губчатым высоким мхом – когда ступаешь, он шуршит и рассыпается в порошок. Примерно под каждой из десяти сосен притулились роскошные муравейники – отцу до пояса. Кажется, что кто-то подметал лес и собрал иголки хвои и всякий мусор аккуратно в кучи.

По лесу без ограждений раскиданы примитивные деревянные домики-дачи. Их немного. Рерберги и мы оказались соседями – друг друга видно и слышно. Кроме Рербергов, видим издали каких-то измученных жарой людей с мешками за спиной – в них бутылки с кумысом. До степи меньше полуверсты. Отец ходит два раза в день в степь пить кумыс и несет оттуда домой запасы в бутылках, как и все. Кобылы принадлежат татарам, живущим в степи. Они тут пасут и доят кобыл.

Степь необычайно красива – сплошь до горизонта покрыта бело-серебристым ковром. Он принимает любые расцветки в зависимости от освещения и при малейшем ветре колыхнется и ходит волнами, как вода. На закате степь сначала розовеет, а потом делается огненно-красной. Кони ржут и носятся, вздымая хвосты, и если они светлые, то кажутся вырывающимися из горящей степи языками пламени. Загляденье, какая красота!

По утрам отец и Федор Иванович идут за кумысом; мы, дети, конечно, с ними. Уже жарко, и когда возвращаемся, то взболтанный от быстрой ходьбы кумыс в бутылках часто взрывается, вышибает пробки, а иногда бутылка разлетается вдребезги. Нам, детям, это забава. Из бутылки, которые выдержали и только пробки вылетели, медленно выползает белая густая пена. Запах кислый и пьяный. Мне кумыс, если не теплый, нравится.

Папа, промокший, говорит: «Эти кумысные ванны тоже полезны, вероятно, только все же лучше подсохнуть, и не будем рассказывать маме – опять огорчится, что быстро шел».

Пока наши больные, папа и Антонина Петровна, отдыхают и лежат, здоровые, мама и Федор Иванович, вооружившись лопатами и мешками, идут поблизости в лес, выбирают муравейники покрупнее и, раскопав до сердцевины, нагружают лопатами в мешки муравьиные маленькие, как бисер, белые яйца вместе с хвоей и муравьями. Самое целебное – яйца. Наполнив мешки, быстро идут домой. Около нашей террасы стоит подпиленная до нужной высоты бочка. В нее выгружают содержимое мешков, и мама его быстро заливает крутым кипятком. Бочку прикрывают клеенкой – пусть содержимое попарится, настоится, потом немного остынет, чтобы папа мог опустить туда ноги: это чудодейственные муравьиные ванны – от ревматизма.

² Рерберг Федор Иванович (1865—1938) – иллюстратор, декоратор, график (соратник Митрохина и Конашевича). Входил в объединение «Мир искусства», помогал дяде, архитектору Рербергу Ивану Ивановичу, при строительстве Киевского вокзала в Москве. «Мир искусства» – русское художественное объединение (1898—1924), созданное в Петербурге А. Н. Бенуа и С. П. Дягилевым, издавало одноименный журнал. Мирискусники выдвигали лозунги «чистого искусства», преобразования жизни искусством, отвергали как академизм, так и тенденциозность передвижников, опираясь на поэтику символизма. Они часто уходили в мир прошлого и гротескных, полусказочных образов. Живописцам и графикам (Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, А. П. Остроумова-Лебедева, К. А. Сомов) присуща утонченная декоративность. Заслугой этого объединения было создание высокохудожественной книжной графики, эстампа, театральных декораций.

Отец корежился, кряхтел, но терпел. Зато вернулся он в Москву осенью с совершенно здоровыми ногами и легкими.

Дружба с Рербергами крепла и у родителей, и у нас, детей.

Тогда и не думали, что Федор Иванович будет вторым и основным учителем на моем пути художника.

Выставки

Вскоре мы уже во второй раз переехали в большую квартиру на углу Тверской и Пименовского переулка, и к нам переехал жить Владя. Там керосиновые лампы были заменены электричеством, а печное отопление – паровым. Помню, что на стенах комнат стали появляться картины. У отца бывали художники. В нижних отделениях книжного шкафа в кабинете отца для них имелись запасы бумаги, альбомы, карандаши, уголь, акварель, пастель и кисти. Приходившие художники делали зарисовки друг с друга, и мне казалось чудом, что на пустом листе бумаги возникает изображение человека, да еще со сходством.

Еще до поступления моего в гимназию, отец водил меня в музеи и на выставки. Мама, никогда не забывавшая о моем слабом здоровье, протестовала. Но я ревела, папины намерения осуществлялись, и мы отправлялись втроем в музей или на выставку.

Я подметила, что взрослые любители живописи приставляют к глазу кулак, а другой глаз закрывают и то отходят от картины, то к ней приближаются, причем восклицают: «Сколько воздуха, как точно передано!», «Какая красота!», «Какая правда!» Папа тоже иногда приставлял кулак к глазу. Придя домой, я изображала «выставку». Мама и Владя очень смеялись, а папа объяснил мне, что руку надо не совсем сжимать в кулак, а оставлять дырочку – получается вроде маленькой подзорной трубы. А я-то думала...

На каждой выставке был всегда, как говорили взрослые, «гвоздь». Около «гвоздей» всегда толпилось много публики. Я вспоминаю на протяжении лет следующие «гвозди»: «Три богатыря» и «Аленушка» – Васнецова; «Море» – Айвазовского, с бурями и световыми эффектами; «Иван Грозный убивает сына», «Запорожцы»³, «Какой простор!» – Репина. Про «Какой простор!» говорили: «Недотянул на этот раз Илья Ефимович до „гвоздя“!» А некоторые с возмущением говорили: «Это же вызов обществу!»

Впервые увиденные живописные поучительные мелодрамы, запомнившиеся на всю жизнь, были «Княжна Тараканова» – Флавицкого, «Неравный брак» – Пукирева, «Всюду жизнь» – Ярошенко и многое в этом роде. А позднее на всю жизнь запомнились суриковские картины.

Вопрос о боге появился у меня, когда появилась нянька. У нее была икона (а для меня «портрет»): бог мрачный, злой, коричневый с золотом. Перед ним горела красная лампадка. Нянька тоже злая. Когда мы гуляли, она водила меня в церкви. Рассматривая там «картины» и увидя изображение голубя в лучах, я спросила: «А почему здесь портрет голубя?» Сильно ущипнув меня, нянька сказала: «Ш-ш-ш! Грехи наши тяжкие! Это не голубь, а дух святой, господь бог троичен в лицах: бог-отец, бог-сын и бог – дух святой». Этого, конечно, я не поняла. На завтра я просила няню: «Пойдем на улицу кормить живых святых духов». Тут же я получила сильный шлепок и подзатыльник и очень обиделась. Рассказала маме. Вскоре няньки у нас уже не было...

³ «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Кремль

Совсем маленькой ознакомил меня отец с Кремлем, в котором, как мне казалось, кто-то расставил огромные игрушки для взрослых, да для каких-то особенно больших взрослых, если судить по царь-колоколу, царь-пушке, колокольне Ивана Великого, да и крепостная стена с башнями была такой огромной сравнительно с моей игрушечной Троице-Сергиевой лаврой! Я думала, что в церквах взрослые собираются, чтобы поиграть в какую-то непонятную мне игру. Я была недалеко от истины. В субботу на Страстной к заутрене уходили из дома поздно вечером на несколько часов. На улицах многие дома были украшены горящими плошками и гирляндами из еловых веток. С колоколен церковью таинственно-приглушенно неслась время от времени звон колоколов. Мы шли не торопясь по Тверской, потом через Красную площадь – в Кремль. Уже на площади делалось тесновато, а перед тем как проходить в Спасские ворота, папа сажал меня на плечо, чтобы меня не раздавили. В Кремле опять было свободнее. В соборах и церквах шла служба – таинственная и тягучая церемония, у всех грустные лица. В церквах был полумрак, и только перед иконами кое-где мерцали свечи. Основное интересное – в двенадцать часов ночи: крестный ход три раза вокруг церкви с пением «Христос воскрес». Шло духовенство в самых богатых белых с серебром и золотом одеждах, с бриллиантовыми и золотыми крестами. В руках кадильницы. Прислужники несли иконы и хоругви. Вспыхивали лучами драгоценные камни. Зажигались и дымили цветные бенгальские огни, взвивались в воздух ракеты фейерверка.

Колокола звонили теперь уже весело всеми голосами – от басов до стрекочущих, переливчатых звоночков. Неистово пели хор и духовенство, а все присутствующие подхватывали, и так было в каждой и у каждой церкви, а их было не счесть сколько в Москве.

В руках почти у всех зажженные свечи. Все троекратно целуются и даже незнакомым говорят: «Христос воскрес», а отвечать надо: «Воистину воскрес!» Все это, конечно, малопонятно, но таинственно-интересно. В конце концов все сливалось в море гула и цветного света и то наплывало, то уплывало, как волны, – вероятно, мне уже очень хотелось спать.

Отец учил меня видеть и запоминать то, что считал примечательным и красивым, особенно русскую старину, и говорил: «Потом вспомнишь, ведь многое исчезнет, а знать это художнику необходимо».

Шести с половиной лет меня отдали во второй приготовительный класс женской гимназии Ржевской на Садово-Каретной. Я ни с кем из девочек в гимназии не дружила – они противные: кто отколупывает штукатурку от печки и ест, кто жует мел, приготовленный для писания на доске, кто выпивает лиловые чернила – их ежедневно наливает в чернильницы на каждой парте вахтер и приговаривает: «На вас не наготовишься!» Из любопытства я все перепробовала – невкусно. Стала жевать и есть бумагу из тетрадок, самая вкусная – в клеточку, для арифметики.

Я была настойчиво ленива и совершенно опозорила родителей, когда в первом классе по закону божьему получила двойку (небывалый случай!) и весной должна была сдавать экзамен, чтобы перейти в другой класс. Экзамен я выдержала с проклятиями в душе.

Воробьевы горы

В дни моего детства поездка на Воробьевы горы занимала много времени – ехали на извозчике, и стоило это немало денег. Даже уже и не вспомнить, каким путем мы туда ездили с Тверской улицы. Это было где-то совсем за городом.

По склонам Воробьевых гор, спускавшихся к Москве-реке, рос густой, с большими деревьями лес из кленов, берез и елей, с дорожками, тропинками и лужайками. Там обычно по воскресеньям и праздникам гулял и развлекался московский небогатый люд. Для развлечения там были платные карусели, качели, «гигантские шаги». Тут же у ловких предпринимателей можно было получить кипящий самовар с чаем и посудой или без. Многие на гулянку брали с собой из дома еду, выпивку и посуду. Приезжали на целый день. Самоваров по лесу стояло много – одни уже кипели, их тащили заказавшим, другие ставили углями и шишками, огонь вздували мехами и сапогами. Синеватый дым и запах угара наполняли уютно всю территорию гулянок да и комаров отгоняли. Ели и пили прямо на земле, не всегда даже расстелив скатерть. Многие бегали вниз к реке, купались и катались на лодках. Слышались песни, взвизгивание, смех, а иногда ругань по «пьяному делу».

Наверху, у самой, как говорил извозчик, «шаши» (шоссе), там, где теперь сделана площадка с балюстрадой для желающих полюбоваться на Москву, находился ресторан-трактир купца Крынкина. Это было знаменитое место. Там можно было, правда, дорого, но хорошо поесть. Знаменитые были там раки – таких огромных я больше никогда нигде не видела. Выпивали там тоже лихо. Слушали хоры русские, украинские и цыганские. Были и закрытые помещения, и огромная длинная открытая терраса, подвешенная на деревянных кронштейнах – балках, прямо над обрывом. На ней стояли в несколько рядов столики. Очень интересно было сверху смотреть на всю Москву (именно всю, так как во все стороны видно было, где она кончалась, – не так, как теперь). Я никак не могла понять, почему про Москву говорят «белокаменная». Ведь с террасы Крынкина я видела в бинокль главным образом красные кирпичные дома. Особенно мне нравилось наблюдать веселую жизнь внизу по склону, среди деревьев. Мелькали маленькие яркие фигурки, то скрываясь, то появляясь. Влетали на качелях девушки и парни, визжали, играли в горелки и прятки. Я готова была просидеть или даже простоять, наблюдая все происходящее, хоть целый день. Иногда я уговаривала родителей спуститься вниз по склону в лес, и, нагулявшись там, мы опять, вторично возвращались наверх в ресторан и опять закусывали.

К этому времени в ресторане многие были странно шумными или разомлевшими и требовали цыган. Под их за душу хватающие песни, романсы и танцы сильно расчувствовавшиеся толстые бородатые купцы в роскошных поддевах ишелковых косоворотках начинали каяться, бить рюмки, вспоминать обиды и со вздохами и охами плакать и рыдать, стучаясь головой об стол и держась рукой за сердце. До сих пор запомнилось это свинство. Требовали подать на стол понравившуюся цыганку. Их старались унять и подобострастным голосом говорили: «Ваше благородие, рачков еще не угодно ли-с? Можно подать сей минут!»

Зрелище плачущих дядей и дедушек доводило меня тоже до слез, и мама говорила: «Миша-а! Расплачивайся скорее, поедem, я же тебе говорила...» На извозчике, сидя у отца на коленях, я, всхлипывая, засыпала, и было уже темно, когда мы приезжали домой.

Впоследствии, глядя на картины Кустодиева, я вспоминала виденное мной на Воробьевых горах.

Владя рос, вырослел, и я слышала часто: «Отстань – мне некогда». Он ходил по комнате то быстро, то медленно (а я за ним) и произносил непонятное: «Лос гипос потамос...» Или: «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» Здорово! Но непонятно. Какие-то гипопотамосы, а уж «гекзаметр» еще меньше понятно.

Иногда отец брал меня с собой в Окружной суд, находившийся в Кремле. Мне интересно было ходить по длинным коридорам и залам этого старинного здания. Даже отец, человек высокого роста, казался там маленьким. Огромное впечатление, несмотря на малость лет, произвел на меня парадный зал сената – творение Казакова. В этом зале в 1939 году я была среди награждаемых работников Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова и получила орден «Знак Почета» из рук любимого всеми Михаила Ивановича Калинина. Тогда зал этот, еще больше, чем в детстве, поразил меня красотой архитектурного решения, удачно выявленного и подчеркнутого установленными скрытыми за карнизом подсветами. Купол казался невесомым, несмотря на сложную объемную разработку.

По воскресеньям мы ездили с отцом на Сухаревку – так назывался рынок, расположенный около Сухаревой башни по Садовой улице (теперь Колхозная площадь). Говорили: «Там можно и на Рембрандта наткнуться». Как все было загадочно и интересно! Что это за Рембрандт, на которого натываются? На Рембрандта отец так и не «наткнулся», но иногда находил редкие вещи: иконы, деревянные церковные скульптуры, фарфор, бисер, книги, парчу...

Весна, уже тепло. Отец сказал: «Я могу показать тебе интересное, но надо встать рано-рано утром». Нас разбудил будильник, чуть начало светать. Отец накануне заказал извозчика к пяти утра. Мы поехали через Красную площадь, проехали Василия Блаженного и по набережной Москвы-реки – налево. Вскоре отец попросил извозчика остановиться. Москва-река текла тогда в естественных своих берегах – земля, песок и трава, кое-где свалки мусора. Отец сказал: «Ну, теперь смотри на большой длинный дом на другой стороне реки, смотри на соединение дома с землей, и ты увидишь...» Не успел отец и договорить, как я увидела, что кто-то невидимый разворачивает вдоль всего длиннющего здания (это были интендантские склады) черный ковер, который быстро раскатывается по набережной, спускается вниз к Москве-реке и странно шевелится внутри себя, спускаясь по откосу, покрытому молодой зеленой травкой с проплешинами земли и песка. Передняя кромка «ковра» понемногу делается зигзагообразной, а дальше отрываются отдельные куски и все несется лавиной к воде и в воду... Это крысы. Миллионы крыс вышли на водопой.

Сначала я очень испугалась – не переплывут ли они реку и не полезут ли на нас, но отец меня успокоил – этого не будет: они, напившись и поплавав, вернутся домой в склады, где им неплохо – там они живут и «обедают». Зрелище было очень интересное, и я долго рассказывала маме, как сказочно разворачивался черный «ковер» по зеленой траве!

Наталия Гончарова и Михаил Ларионов⁴

Лето. Живем на даче в Старом Гирееве. Воскресенье. Отец напоминает маме, что к обеду приедут из Москвы новые знакомые – молодые художники: Михаил Федорович Ларионов и Наталия Сергеевна Гончарова. Мама спрашивает: «Она его жена?» Отец: «Не знаю, это неважно – они, кажется, живут вместе. Оба очень талантливые – она из тех Гончаровых, что и жена Пушкина». У меня всегда ушки на макушке, настороже. Как интересно! Молодая художница! Да еще Наталия Гончарова! Я все еще смущаюсь чужих и не еду с отцом встречать художников на станцию Кусково. Я думала: хоть бы им у нас понравилось! И даже украсила голову своего черного пуделя Каро ярко-красным бантом – от украшения бантом хвоста отказалась. А вдруг им будет не смешно?

За обедом я исподтишка рассматривала художников. Оба молодые, высокие. Он – широкоплечий, белобрысый, маленькие светлые веселые глазки, которые при смехе превращаются в хитрые щелочки-штришки. Шумный, слегка шепелявит и сам себя перебивает, мысли опережает словами. Нападал он на человека внезапно, прицепившись к какому-нибудь слову, и тут уж не отпустит! Он внедряет в собеседника, или, вернее, слушателя, хочет тот или нет, новые свои соображения о живописи. Иногда отец пытался что-то опровергать, но... где там! На него выливался такой поток убеждений, что он, не соглашаясь, сдавался... Все равно переубедить Ларионова было невозможно.

Вдруг, как бы опомнившись, он серьезно и вопросительно взглядывает на Гончарову, притихает на секунду, и опять словесная бомбардировка! А она чуть сдвигает брови и внимательно и терпеливо следит за ним. Я перенесла свои наблюдения на Наталию Сергеевну: узкая в бедрах, стройная, без жеманства, и все – всерьез. Маленькая головка на высокой шее. Лицо – без мелочей, очень точно нарисовано. Мимика скупая, волосы черные, или почти, причесаны на прямой пробор, туго затянуты по голове, очерчивая затылок, а внизу, у шеи, завернутые в маленький, еле заметный пучочек. Брови очень черные, тонкие, спокойные. Овал лица четкий. Маленький носик с энергично вырезанными ноздрями. Глаза – карие, небольшие, пристально смотрящие, обведены черной бахромкой ресниц. Рот не маленький. Прямая линия стыка губ придает выражение строгости. Уголки – юно припухлые и приподнятые. Подбородок короткий. Руки и ноги плоские и довольно большие. Никаких прикрас: ни косметикой, ни в одежде. Кожа гладкая, чистая. Она вся очень русская. Красивой не назовешь, но... Ее бы прекрасно написал Аргунов или Левицкий. Одета – без моды, очень просто и складно, как может себе позволить женщина хорошо сложенная.

После обеда отец предложил пойти на пруды – их два в лесу, по обе стороны проселка, примерно полверсты от дачи. Лодка – на левом пруду. Берега густо зацвели желтыми ирисами. Отец гребет. Ларионов – на руле и все время говорит: «Наташа – до чего здорово! Наташа – смотри! Наташа – видишь?» «Наташа, Наташа, Наташа!...» Я сижу рядом с Гончаровой на средней доске-скамейке и блаженствую – так мне Наталия Сергеевна вся нравится. Казалось, что от нее пахнет чистотой. Говорит она не быстро, поразмыслив, в утвердительной интонации, довольно низким, глуховатым голосом. В ней, как в иконах, – строгость.

Сижу, почти прижавшись к ней. Рукава у нее короткие. На запястье правой руки старинный браслет – тонкая золотая проволока, к которой приделан, как пряжка, большой темно-лиловый аметист, взятый в золотые лапки. Очень неожиданным кажется это женское украше-

⁴ Гончарова Наталия Сергеевна (1881—1962) – русский живописец. С 1915 г. в Париже. Школа русского неопримитивизма. Картинам ее присуща лубочная экспрессия и яркая декоративность образов. Заимствовала у М. Ф. Ларионова его теорию лучизма. Выступала и как театральная художница (спектакли «Русских сезонов» в Париже в 1914 г.). Ларионов Михаил Федорович (1881—1964) – русский живописец. В раннем периоде пейзажист в духе импрессионизма. Позднее примкнул к группе «Бубновый валет». Известна его серия картин на солдатскую тему. Создатель теории лучизма.

ние на ее крупной юной руке. Кисть руки она опустила в воду и, видно, наслаждается струями воды, протекающими у нее между пальцами, – день жаркий.

Вдруг я ощутила, что мне очень хочется ласково высказаться этой художнице. Я нагнулась через ее колени к воде и, как бы нечаянно, нежно притронулась к браслету и погладила ее мокрую руку. Она повернулась ко мне, удивленно посмотрела и чуть лукаво улыбнулась. Уголки ее губ вздернулись. Мне оба понравились, но к Гончаровой больше тянуло – ведь художница!

К вечеру они ушли с огромными букетами сирени, ирисов и полевых цветов, – мне было очень грустно. Пригласили осенью приходиться к ним, покажут, что наработают за лето. «Приходи и ты обязательно, – сказал мне Ларионов, – думаю, мы подружимся».

С осени я действительно подружилась с ними. Жили они близко, в Трехпрудном переулке, дом 7, в красном кирпичном доме. Мастерской нет – просто пустынная комната в какой-то мрачной квартире. Удивило, что мольберт один. На нем обычно – работа Гончаровой. Помню Ларионова, бросающегося с кистью в руке через всю комнату к холсту, кое-как отрезанному и прибитому прямо к стене на выцветшие и замазанные красками обои. Я сажусь на табуретку, поодаль, и молча смотрю. Время от времени Михаил Федорович вспоминает обо мне и говорит: «Ну, смотри, смотри, учись... Нравится? Здорово?»

Двери из комнаты ведут в переднюю и в коридор, куда уходит Наталия Сергеевна ивозвращается с кипятком и чаем. Для чаепития и закуски имеется небольшой стол, но чаще пришедшие друзья садятся на пол, подстелив под себя бумагу. Тарелок мало, есть стаканы и веселые цветные чашки. Эта неналаженность в хозяйстве никому не мешает. Здесь царит искусство – дерзкое, настоящее, молодое, и о нем все помыслы, разговоры, споры.

Запомнилось такое. Набралось несколько художников, а Ларионов говорит: «Наташа, а где же пирог?» Она спокойно отвечает: «Сейчас принесу» (я никогда не видела ее суевающейся). Она появляется из коридора с огромным железным листом, на котором – пирог. «Вот эта половина с ливером, а другая с капустой, кому что?» Михаил Федорович нагибается к сидящим на полу и наливает одним водку, другим вино. Из тех, кого там видела, вспоминаются: Давид и Владимир Бурлюки, Лентулов, А. В. Грищенко, Вл. Денисов, Илья Машков.

В ближайшее лето Наталия Сергеевна и Ларионов ездили на юг в заповедник Аскания-Нова. Привезли много этюдов и рисунков: пейзажи, животные, натюрморты. Отец купил у Ларионова два великолепных больших натюрморта – один с камбалой, другой с овощами и розами. Особенно камбала мне нравилась. Вся вещь бело-голубая – воздух, солнце! Казалось, что захлебнешься светом и растаешь в жарком мареве.

Мне было тринадцать лет, когда Гончарова написала мой портрет, поколенный – я стою. На мне серо-голубоватое платье, шапочка и муфта из темно-коричневого меха. Позировала я раз десять. Получился очень красивый по цвету портрет, но по живописи больше похожий на работу Ларионова. Портрет был куплен отцом. Где он теперь, не знаю.

Отец говорил, что Ларионова он очень любит, как сына. Он слегка шальной, но редкостно талантливый и влюбленный в живопись, а того, кто против лучизма, – загрызет! Однажды прихожу домой и, пока раздеваюсь в передней, слышу крик Ларионова в кабинете отца: «Лучизм! Только лучизм! Я теперь это понял, и мне открылся новый мир живописи! Понимаете? Это надо видеть! Бегу писать дальше, забежал кое-что посмотреть у вас в библиотеке, да и Наташа ждет!»

Не помню, как объяснял лучизм Ларионов, но выглядело это так: Ларионов как Ларионов (по цвету, во всяком случае), но каждый предмет испускает лучи, большие – длинные и маленькие – короткие. Они забавно пересекаются и слегка все путают... а то просто одни лучи.

Конец детства (Первый портрет)

Мне десять лет. На этом и кончилось мое детство. Я себя чувствую взрослой. С трудом перешла в четвертый класс. Продолжаю ненавидеть гимназию. У меня отдельная комната, и отец подарил мне новую обстановку светлого дуба. Я очень горда и принимаю у себя гостей: Владю с Мариной. Они познакомились в Старом Гирееве, влюбились, поженились. Живут на Тверском бульваре. Я часто у них бываю, и даже с ночевкой. Там интересно: бывают поэты, читают стихи – Бальмонт, Петровская, «Гриф» (Соколов)⁵ и другие. Мне нравилось, что они мне дарили свои книжки стихов с надписями. Владя студент – пишет хорошие стихи. Марина поет. Я их обоих боготворю. Марина кажется мне самой красивой из всех, кого я видела в жизни. Смотрела я на нее, смотрела, любовалась, и вдруг... мне пришло странное желание – нарисовать ее, вот сейчас, скорее, сию минуту...

Как? Что? Я бросилась в кабинет отца (его не было дома), к заветному шкафу, где хранились всяческие материалы для приходивших художников, схватила лист бумаги, уголь, кнопки, доску, тряпку, прибежала к Марине и стала ее просить попозировать мне для портрета. Она переглянулась с Владей, а он сказал:

– Ну и обезьяна же ты! Марина, посиди, только недолго – нам скоро в театр.

Я ее усадила и начала. Я не знаю, что я испытала, вернее ничего не испытала – это было какое-то странное состояние. Рисовала я Марину около часа. Вся перемазалась углем. Ни Владя, ни Марина меня не прерывали (он читал книгу), пока я не сказала:

– Больше не могу! Все! Не умею!...

Портрет Марины – голова и шея до плеч в натуральную величину – был нарисован размашисто, энергично и, как ни странно, с большим сходством. Я с удивлением смотрела на рисунок – видела, что красоту Марины мне не удалось передать, – и подумала: «Ну что же, нарисую в другой раз лучше...» Для меня стало ясно, что я хочу и буду рисовать еще и еще и всегда... Владя сказал, по привычке, что-то едкое, вроде:

– Не зазнавайся только, пожалуйста.

Мама почему-то стала очень серьезной и со вздохом облегчения сказала:

– По-моему, неплохо. – И с тревогой: – Как Миша воспримет это?!

Отец вскоре пришел, и мама сразу же сказала:

– Миша-а, ты только не волнуйся – Валя нарисовала углем портрет Марины.

Отец заметно побледнел и спросил неузнаваемым голосом, как-то поперхнувшись:

– Где он? Покажите скорее!

Я сказала:

– Он у меня в комнате. Пойдем покажу.

Отец долго смотрел и вдруг быстро ушел к себе в кабинет, мама за ним (наверное, боялась очередного папиного припадка), и я услышала папины рыдания. Мама бежала за валерьянкой. У меня как-то все перепуталось в мыслях. И радость, и жалость, и все так непонятно... Владя сказал:

– Ну, ты еще не можешь пока понять, в чем тут дело, а я не могу пока тебе объяснить.

Какие-то загадки! Что произошло?... Я долго смотрела на портрет, но он мне тоже ничего не объяснил. Вскоре отец пришел ко мне уже веселый, даже слишком, с пульверизатором и флаконом фиксатива для угля.

– Давай зафиксирую твой первый рисунок, пусть сохранится, а то ведь углем – сотрется.

⁵ Петровская Нина Ивановна (1884—1928) – писательница, жена С. А. Соколова (Кречетова). Дружила с В. Я. Брюсовым и Андреем Белым. Соколов Сергей Алексеевич (Кречетов Сергей) (1878—1936) – поэт, редактор журналов «Золотое руно» и «Перевал», которые стремились к объединению младших символистов. Основатель и владелец частного издательства «Гриф». Издатель-редактор альманахов «Гриф». Председатель Московского художественно-литературного кружка.

Он написал число и год, а я подписалась. Рисунок этот долго хранился у родителей, и я не знаю, когда и куда исчез.

Первый учитель Павел Павлович Пашков

В ближайшее воскресенье, после того как у отца появилась реальная надежда, что я, может, когда-нибудь стану художником, отец сказал:

– Собирайся, поедem в Строгановское училище – оно художественно-прикладное, а по воскресеньям для желающих существуют бесплатные воскресные классы рисования. Попробуй – может, тебе понравится. Преподает там Павел Павлович Пашков⁶, ты его знаешь.

С Пашковыми родители были знакомы давно и бывали друг у друга.

Ну что же! «Пал Палыч» – у него роскошная светлая борода и, говорят, добрый, а мне так хочется рисовать. Взяв все, что нужно для рисования, очень волнуясь, мы с отцом на извозчике приехали в Строгановское. Было десять часов утра. Отец разыскал Павла Павловича и сдал меня ему, сказав, что к концу занятий, в два часа, он заедет за мной.

Странно – от природы застенчивая, я обрела какое-то необычное спокойствие. Пашков провел меня в помещение воскресных классов. В первом рисовали геометрические фигуры из проволоки (куб, шар, пирамида, призма, многогранник) и эти же фигуры в объеме из гипса; во втором рисовали гипсовые античные орнаменты, головы и торсы. Запомнились: голова Венеры Милосской, голова Давида Микеланджело, бюст Антиноя, огромный торс без головы и голова лошади. Рисующих было много – взрослые. Тут я слегка струхнула. Пашков, показав мне, где взять доску, мольберт и табуретку, объяснил, что я должна нарисовать все проволочные фигуры, а затем начать объемные, уже с изображением тени и света с подтушевкой. «Вглядывайся, не торопись и, только поняв, – рисуй. После перерыва я зайду поглядеть».

Рисовала я углем. Трудно было с проволочными фигурами – смущало, что вижу все насквозь. Потом поняла, и... пошло так быстро, что до перерыва я изобразила и проволочные, и объемные фигуры. Тушевала штрихами. Растушевкой не нравилось. Работала очень сосредоточенно, перемазалась углем. Ни с кем не познакомилась – стеснялась, да и некогда. Появился Павел Павлович – удивился быстроте, сказал, что неплохо, и разрешил перейти во второй класс – рисовать орнаменты. «Первый класс уже пройден – вот так бы и дальше», – думала я. Оставалось часа полтора до окончания занятий. Рисующих в этом классе было еще больше. Но я расхрабрилась и впала в такой азарт, что, ни на кого не обращая внимания, нарисовала два наиболее понравившихся мне гипсовых орнамента. В спешке не добилась объемности, а тут зазвонил звонок – работа кончена. Отца встретила в коридоре – он искал меня обеспокоенным взглядом. И только я хотела похвастаться, как подошел Пашков, сказал о моих успехах, но прибавил, что в следующее воскресенье работать надо более вдумчиво.

– Но я хочу скорее нарисовать Венеру.

– Нет, сначала еще посидишь над орнаментами. В сегодняшних плохо разобраны тень и свет. Вот они и получились кривыми.

– Ну, поедem скорее домой – там мама волнуется, – сказал отец.

Рисунки я взяла с собой. Дома папа прикрепил их к доскам и картонам – прямо выставка! Но... рисунки показались мне куда хуже, чем когда я, в творческом запале, их рисовала.

Еле дождалась следующего воскресенья. Старалась не торопиться, и действительно получилось лучше, и Павел Павлович, посмотрев нарисованный мной орнамент, сказал:

– Ну вот, видишь, совсем другое дело! Навсегда запомни, что надо понять и увидеть главное, найти характер того, что рисуешь, очень общо набросать, не вдаваясь в подробности, проверить и только после этого заняться светом и тенью... А теперь поедem и найдем тебе место, откуда ты будешь рисовать Венеру. В профиль – для начала легче.

⁶ Пашков Павел Павлович (1872—1962) – пейзажист и портретист.

Ее рисовали многие: очевидно, красота имела огромную притягательную силу. Я пристроилась и начала приглядываться к ее профилю. Моим соседом оказался тощий молодой человек с неряшливой растительностью, расположенной кустиками на голове и лице. Очень странные глаза. Он меня заинтересовал тем, что голову Венеры, повернутую к нам правым профилем, рисовал профилем налево, смотрел, прищуривал то один, то другой глаз и, стерея все тряпкой и резинкой, начинал рисовать профиль направо, но быстро опять «съезжал» налево. Я робко спросила, почему он рисует профиль не в ту сторону, как все, и испугалась, когда он убежденно сказал мне: «Я так вижу, хотя и знаю, что это не так». Я уже старалась не смотреть в его сторону, чтобы не увидеть, как он.

Ходила я в Строгановское восемь воскресений. С трудом, а иногда с отчаянием заставляла я себя исправлять то, что получалось плохо. Это были первые мучения от разочарования в себе, а потом? Всю жизнь сомнения и неудовлетворенность результатами, но всегда наслаждение в запале работы.

Пока я посещала воскресные классы, во мне зрела мечта – уйти из ненавистой гимназии. Училась кое-как. Получала двойки – так было мной задумано – и радовалась. Наконец договорились – меня возьмут из гимназии, якобы по болезни. К лету я сдам экзамены за четвертый класс. А там видно будет! Мне-то уже ясно, что я буду художником.

Мне стало жалко отца, и я согласилась, чтобы по вечерам на два часа приходил студент-репетитор. «Грызть гранит науки» с его помощью мне не понравилось, и я ему говорила: «Не будем терять времени – я буду читать про искусство и стихи, а вы – что хотите...» Он был честный и от уроков отказался. Экзаменов я не сдавала. С гимназией было покончено.

Студия Федора Ивановича Рерберга

С осени я стала ходить в Студию рисования и живописи Федора Ивановича Рерберга. Она помещалась на Мясницкой улице (теперь улица Кирова), недалеко от Почтамта, и занимала две комнаты. Одна очень большая, с окном почти во всю стену, и вторая, поменьше, с обычными окнами. В первой писали днем живую модель, а вечерами рисовали. Во второй писали натюрморты. Их ставил сам Федор Иванович. Обычно их бывало штуки три – предметы разных фактур и разные по цвету. Раз в неделю Рерберг читал лекции по истории искусства, иллюстрируя их диапозитивами. По субботам хирург Сергей Иванович Голоушев, он же искусствовед, преподавал анатомию. Его литературный псевдоним – Сергей Глаголь.

В то время в искусстве живописи начались поиски «нового». В большинстве случаев это были отголоски новейших западных влияний, главным образом – Парижа. В нашей студии тоже «искали». Сам Рерберг, к сожалению, не мог преодолеть передвижническую скуку в золотых рамках. «Поискам» же он не препятствовал и был прекрасным человеком. Ученики – разные. Человек двадцать. Брат и сестра Давида Бурлюка⁷ писали всё квадратными мазками, очень ровненькими. Получалось вроде мозаики – интересно! Помню еще одну из учениц – ей лет двадцать, у нее ярко-рыжие волосы, мертвенно-бледное лицо. Она медлительная, тихая. Я ей очень завидовала: она «видела» все в сине-лиловом тумане и точечками. Вероятно, слышала что-то о Синьяке.⁸

Рерберг, будучи грамотным, но не выдающимся художником, любил преподавать, был необычайно деликатным и смущающимся. Вероятно, было бы лучше для учеников, если бы он был более властным и резким в своих суждениях. Говорил тихим, глуховатым голосом. Подойдя к ученику, он обычно долго переминался с ноги на ногу и смотрел на работу, наклоняя голову то к одному плечу, то к другому, и наконец, откашлявшись, начинал глухим голосом стыдливо и извинительно указывать на погрешности рисунка или не вписанного в общую цветовую гамму тона. Если попадались совсем бездарные ученики, у него обиженно по-детски оттопыривалась нижняя губа, и он говорил: «Видите ли, я ничем не могу помочь вам... может, вы выберете себе другое занятие. Было бы лучше для нас обоих...» – и, вздохнув, шел к другому ученику.

Сергей Иванович Голоушев был человеком немолодым. Высокий, с красиво посаженной головой, густые, крутой волной лежащие волосы – черные, с белыми нитями. Бурная, широкая и внезапная жестикуляция и порывистые движения. Во время лекции он то садился, то вскакивал. Глаза черные. Голос – красивый баритон (так говорили и добавляли: хорошо поет цыганские романсы). Очень остроумный. Смешными рассказами или забавными сравнениями он вколачивал в нас знания скелета и мышц, с бешеной скоростью иллюстрируя их рисунками мелом на доске.

У него на лекциях не задремлешь! Внезапно он вызывал ученика к доске. Когда мы изучили скелет, он проверял наши знания на наших же рисунках. В них мы должны были «врисовывать» скелет. Получались смехотворные результаты: кости, пронзая мышцы и кожу, вылезали за контур рисунка или их не хватало для той или иной части тела. Голоушевский метод разоблачал кажущийся хорошим благодаря тщательной тушевке анатомически неверный рисунок. Мы очень любили такие уроки, они проходили под хохот и были очень полезны.

⁷ Бурлюк Давид Давидович (1882—1967) – русский поэт и художник, один из основателей русского футуризма. С 1920 г. в эмиграции. Футуризм (от лат. *futurum* – будущее) – авангардистское направление в европейском искусстве 10 – 20-х гг. XX в. Стремясь создать искусство будущего, его представители культивировали урбанизм, переплетение документального материала с фантастикой, в поэзии – «слова на свободе», или заумь.

⁸ Синьяк Поль (1863—1935) – французский живописец. Представитель и теоретик неомимпрессионизма.

Лекции по истории искусств Федор Иванович читал интересно, и подбор диапозитивов был разнообразен и очень хорош. При показе он умел обратить внимание на характер и особенности каждого произведения и сравнивал их между собой, что очень способствовало запоминанию и пониманию искусства прошлых веков и каждого художника в отдельности.

Еще в студии у Рерберга на его лекциях с диапозитивами по истории искусств меня поразили и обольстили произведения Сандро Боттичелли, в когда в 1909 году я выклянчила у отца поездку из Венеции во Флоренцию и увидала там «Весну» и «Рождение Венеры», я долго бредила этими двумя картинами, и такая меня грызла зависть, покоя мне не было... Сказав отцу, что я хочу купить «на всякий случай» небольшой ящик с пастелью (на что он, конечно, согласился), я на следующий же день, сославшись на головную боль, отказалась идти с отцом в музей. Он ушел один, а я, закрывшись на ключ в гостинице, схватила этюдник, в котором был прикреплен небольшой холст, надела почему-то соломенную голубую шляпу с малиновым султаном, встала перед зеркалом в шкафу и в странном страстном забытии рисовала свой автопортрет (голова и чуть плечи) пастелью, втирая ее в тянущий матовый грунт холста. Часа через три, когда раздался стук отца в дверь, я сказала ему, что раздета и буду готова через час – пусть отдохнет.

Я быстро стала заканчивать портрет, искрошила всю пастель, да и от волнения она у меня падала на пол и ломалась. Были минуты, когда мне казалось, что я сделала что-то похожее на Боттичелли... Приведя себя и комнату в порядок, я повернула свою работу к стене, а когда вновь посмотрела – увидала, что плохо и отцу показать стыдно, но все же показала. Он умилился, и ему понравилось, но он даже не догадался, что я пыталась состязаться с Боттичелли!

Летом 1912 года после Парижа мы жили в Старом Гирееве, в новой даче, которую по настоянию Ивана Александровича Терлецкого построил для родителей архитектор Иван Иванович Бонн, а участок земли был подарком Ивана Александровича отцу. И там я увидала «вещий сон»: стою в саду, кто-то стучит в калитку. Вижу – стоит мужик в холщовой белой рубашке, в онучах и лаптях, в руках корзина из дранки – полна белых грибов, маленьких, чистеньких, корешки подрезаны... Спрашиваю: «Продаешь?» – «Неужто так гуляю», – отвечает. Спрашиваю цену – дешево, иду в дачу за деньгами, а что-то поразило в парне... Возвращаюсь. Говорит: «Мы не запрашиваем – глянь, хороши грибы, а картины и того лучше!» Нет, не ослышалась, сказал: «картины»... Даю деньги, возвращаю корзину, беспокоюсь всматриваюсь, говорит: «Спасибо, что не торговалась». И вдруг я понимаю, что это Сандро Боттичелли (голова его, но одежда мешала сразу узнать его), а он: «Я же твой любимый художник, не забывай меня и мои картины, и из тебя толк выйдет... грибов-то еще приносить?» – «Конечно!» Он как-то растворился в солнечном воздухе и никогда больше «не приходил».

А я не знаю – получился ли из меня толк? Слишком рано я ушла от живописи.⁹

В 1966 году издательство «Советский художник» выпустило альбом «Боттичелли» – он лежит на моем ночном столике. После суеты дня протяну руку – и вот я опять наслаждаюсь произведениями великого художника...

Говорил Федор Иванович с нами и о технологии живописи, и кратко о химическом составе красок и лаков, и что с чем нельзя смешивать. Как доказательство показывал сделанные им образцы выгорания или почернения красок. После этих лекций мне было о чем поговорить с отцом. У нас даже бывали иногда расхождения во вкусах и оценках. Папа говорил: «А что ты понимаешь, пигалица?»

Что и говорить, учитель Рерберг был хороший. Но я вдруг почувствовала, что мне скучно и я больше не двигаюсь вперед. Я сказала отцу об этом. Он очень огорчился и обещал, что подумает, как быть.

⁹ В.М. Ходасевич имеет в виду свой отход от станковой живописи ради работы театрального художника.

В то время «на взлете» был художник Станислав Юлианович Жуковский¹⁰. У него была студия, и отец договорился с ним обо мне. Он известен был своими пейзажами и интерьерами старинных особняков. Владя называл их «все в прошлом». Рербергу отец объяснил мой переход к Жуковскому тем, что студия Жуковского близко, а мне нельзя терять силы на дальние хождения.

Ученики в студии взрослые, их немного, да и комната небольшая. Пишут хорошенькую натурщицу, ампирно одетую. Я тоже устроилась ее писать. Вскоре Жуковский дал ученикам домашнее задание – композицию на любую тему. Стояли морозные солнечные дни, деревья в инее, солнце сквозь розовую дымку. Я шла домой, увидела церковь очень розового цвета, окруженную деревьями в инее, тоже розовом, и странного зеленого цвета небо. Придя домой, решила, в исполнение задания Жуковского, «по свежим следам» изобразить виденное, пририсовала людишек и на завтра отнесла в студию. Показываю Жуковскому. Он говорит:

– Что это за неправдоподобная чушь и гадость? Почему розовое с бешено зеленым? Так не бывает! Зачем так отвратительно ярко?

Я взбеленилась и сказала:

– Да, ярко? Я так вижу, и это не то, что ваша обязательная чернота и ваше «все в прошлом».

Жуковский кричал:

– Вы не смеее так со мной разговаривать, невоспитанная девчонка! Можете ко мне больше не ходить!

Я собрала свои вещи и отправилась домой.

Проработала я в студии всего около месяца. Рассказала все родителям... Они посоветовались, и папа поехал к Жуковскому объясняться. Вернувшись, сказал:

– Ну, что же нам с тобой делать? – тяжело вздохнул, но ни словом не упрекнул меня.

Я рисовала и писала дома. Много читала, много смотрела и наблюдала. Летом ездили в Венецию, а осенью я опять вернулась, как блудная дочь, к Федору Ивановичу Рербергу. И так мне там хорошо показалось! Встретили меня как родную.

¹⁰ Жуковский Станислав Юлианович (1873—1944) – живописец, ученик Левитана. Погиб в фашистском концлагере.

Кружок

Когда родители вечером уходили, а я спрашивала: «Куда?» – мне отвечали: «В „Кружок“». – „А что это такое?“ – „Это клуб для взрослых. Подрастешь – узнаешь“. – „А что такое клуб?“

И вот наконец-то я «подросла» – бросила гимназию, опять хожу к Рербергу, и мы втроем вечером поедем в «Кружок» – там будет лекция.

Вечер, фонари, зима. Сани. Шубы. На Большой Дмитровке подъезжаем к трехэтажному дому, выстроенному «покоем», – это и есть «Кружок». Внизу раздевалка. Сняли шубы, ботики. Поднимаемся по лестнице во второй этаж и проходим через несколько гостиных в зрительный зал. Он большой и светлый. Пока идем, с родителями многие здороваются. Отец, показывая на меня, говорит: «Знакомьтесь – это моя дочь». Замечаю, что многие смотрят на меня с удивлением – дети обычно в «Кружке» не бывали. Но я-то чувствую себя взрослой и очень горжусь, что я здесь!

До начала лекции отец, указывая мне на некоторых из входящих в зал, называет их фамилии и чем они занимаются. Вот миллионер коллекционер Н. П. Рябушинский, он издатель и устроитель выставок и сам художник. Третьяков – собиратель галереи русской живописи. Вот меценатки, три подруги, – Гиршман, Лосева, Носова, писатели – такие-то... Были философы, врачи, ученые... Некоторых я уже раньше видела и с гордостью говорила: «Ну, этого (или эту) я знаю – помнишь, на выставке»...

Не помню точно, кто выступал в тот вечер, но из дальнейших посещений помню лекцию философа Бердяева. Конечно, он говорил мудрые вещи, совершенно недоступные моему пониманию, но мне очень интересно было не отрываясь смотреть на него – внешность примечательная. Высокий. Волосы черные с проседью, полудлинные, взлохмаченные, но самое привлекательное то, что у него был нервный тик, и он, сказав несколько слов, высовывал длинный ярко-красный язык и при этом делал какое-то странное движение головой, как бы вправляя ее на место. В другой раз была лекция очень элегантного, напудренного Максимилиана Шика о скульпторах Майоле и Минне¹¹. Впереди нас сидел известный журналист Гиляровский. Во время лекции отец, вынув блокнот, написал что-то и передал Гиляровскому – тот прочитал, улыбнулся, погрозил отцу пальцем и на обороте папиного листка тоже написал и передал обратно. Уже дома отец прочитал нам с мамой это коллективное творение. Отец сочинил:

О Майоле и о Минне
С умилением говорит
И смешной являет вид
В кисло-сладкой мине.

Гиляровский:

Голос – нежная труба,
Смотрит как-то косо,
Слишком мало лба,
Слишком много носа!

Ресторан «Кружка» состоял из нескольких светлых, не очень больших зал. На стенах портреты – заказанные «Кружком» работы Валентина Серова: Шаляпин – во весь рост – углем,

¹¹ Майоль Аристид (1861—1944) – французский скульптор. Минне Жорж (1866—1941) – бельгийский скульптор.

Ермолова – в черном платье стоя. Южин, Федотова, Ленский и др. Иногда здесь ужинали Станиславский, Немирович-Данченко, Качалов, Москвин, Книппер-Чехова, Нежданова, Голованов и Кусевицкий – да всех и не помню. Бывали издатели Сабашников, Поляков, Кожебаткин, «Гриф» (Соколов) и художники Валентин Серов, Константин Коровин, Феофилакт, Милиоти... Отца многие знали и радушно приветствовали. Это был клуб московской интеллигенции – «Литературно-художественный кружок»

Алексей Николаевич Толстой

Мне хочется вспомнить и описать запомнившиеся встречи с Алексеем Николаевичем Толстым. Я – художник, и в связи с моими индивидуальными качествами, вероятно, произошел отбор в моей памяти тех, а не других фактов из жизни Алексея Николаевича. О другом напишут другие.

Слово – для меня чужой и плохо мне поддающийся материал, да простит меня Алексей Николаевич.

Впервые я увидела Алексея Николаевича Толстого в 1906 году на вечере поэта Игоря Северянина в клубе Свободной Эстетики в Москве, куда привел меня отец, неутомимо стремившийся в педагогических целях начинать меня с самого раннего детства большим количеством разнообразных впечатлений. И тот вечер четко врезался мне в память.

Комнаты «Эстетики» постепенно заполнялись представителями новейших течений литературного мира и интеллигенции Москвы. Отец называл мне главных: «Вот Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Бердяев, Максимилиан Волошин, Осип Мандельштам, Константин Липскеров, Виктор Гофман, Гершензон, Нина Петровская...» К этим именам отец прибавлял малопонятные мне в то время слова: «символист», «акмеист», «декадент», «философ».

Входили мужчины и женщины какого-то странного вида. Меня поражала и бледность их лиц (иногда за счет пудры), и преобладание черных сюртуков особого покроя, и какие-то длинные, балахоноподобные, из темных бархатов платья на женщинах.

Они скорее проплывали, чем ходили, в каком-то замедленном темпе. В движениях были вялость и изнеможение. Говорили нараспев, слегка в нос. И я уверена была, что они условились быть «особенными».

Уже появился и сам Северянин. Все заняли места в комнате, где происходили выступления. Настала выжидательная тишина, и вдруг какой-то шум привлек внимание всех к входным дверям, в которые торопливо, но властно вошел молодой, красивый человек очень холерного вида, с живым, нормального цвета лицом и веселыми глазами. И мне показалось, что этот человек из другого, более жизнерадостного мира, чем большинство присутствующих, хотя что-то особенное было и в нем. Вошел Алексей Николаевич Толстой.

Мое первое полудетское впечатление, как выяснилось в дальнейшем, не обмануло меня. До последних дней его жизни ярко горело в Толстом чувство жизнеутверждения, и, конечно, «особенным» он был всегда.

* * *

Познакомилась я с Алексеем Николаевичем Толстым году в 1916-м¹². Толстой, увидев на одной из выставок мои работы, просил меня написать портрет его жены Наталии Васильевны Крандиевской. Жили они в одном из переулков Арбата. Я пришла к ним. Наталия Васильевна меня очаровала с первого взгляда. Мы долго обсуждали и позу, и платье, и фон будущего портрета. Толстой во всем этом принимал страстное участие – волновался, говорил о тоне, цвете, композиции портрета. По молодости лет я даже слегка струсилась перед таким взыскательным заказчиком, но одновременно очень вдохновилась будущей работой. Не помню, какие обстоятельства помешали осуществлению этого портрета. В этом же году я переехала в Петербург, и мое мимолетное знакомство с Толстыми оборвалось.

Возобновилось оно в 1929 году, когда Толстые поселились в Детском Селе под Ленинградом, где Алексей Николаевич прожил до 1938 года. Мы вскоре сдружились и перешли на

¹² Подлинные слова А. Н. Толстого и других упоминаемых лиц я беру в кавычки. (Прим. авт.)

«ты», что для меня всегда было нелегко. Дом Алексея Николаевича был очень оживленным и гостеприимным: подрастали дети Толстых – Никита и Митя. В дом вливались их многочисленные друзья – веселая, талантливая молодежь, – и жизнь Толстого расширялась и обогащалась новыми заботами и интересами, новыми волнениями и забавами. Зимой, в праздники, устраивались маскарады, елки, шарады, танцы и ночные катания в розвальнях. Летом – далекие прогулки пешком и на велосипедах, игра в теннис и прочие другие развлечения. Главным заводилой был, конечно, Алексей Николаевич.

Так же, как впоследствии в Барвихе и везде, где бы он ни обосновывался, Толстой работал ежедневно по четыре – шесть часов. По воскресеньям к нему приезжали из Ленинграда в большом количестве разнообразные люди. А на неделе, к вечеру, собирались более близкие друзья. Уже и тогда умел Алексей Николаевич объединить и столкнуть у себя людей самых разных характеров, профессий и возрастов, и к нему жадно тянулись люди. Всех привлекал талант Толстого, его энергия, оптимизм, ненасытное отношение к жизни, любовь и вера в людей и родину. Очень уж безнадежные пессимисты и бесцветные люди, естественно, не бывали у Толстого. Слова и выражения «скука», «лень», «мелкая душонка», «паршивый склочник», «подхалим», «трус», «бездарный дурак» произносил он как-то гнусава, в нос, с подчеркнутой брезгливостью. Не помню, чтобы он употреблял выражение «мне кажется» – он четко видел, чувствовал, знал.

Детское Село Алексей Николаевич очень любил. Изучил его парки, дворцы и окрестности в мельчайших подробностях и, не утомимо восхищаясь, водил и приобщал к этим красотам всех приезжавших к нему. Водил иногда очень далеко, чтобы показать особенной формы или цвета дерево, а иногда даже отдельную ветку.

Нередко читал Толстой собравшимся у него отдельные главы и куски тех произведений, над которыми в данное время работал, и внимательно следил за произведенным впечатлением и высказанными суждениями. Иногда, в очень узком кругу людей, любил он импровизировать устные рассказы; желание это, тема и ее воплощение возникали внезапно. Называл он это «враньем».

Помню, как страстным партнером Алексея Николаевича в этом занятии бывал его друг – художник Виктор Семенович Басов. Толстой говорил: «Басов, давай поврем, что ли!» И вот начиналось что-то вроде состязания. Садись за стол, на котором, для уюта, появлялась бутылка хорошего красного вина, и они начинали... Оба волновались, глаза их горели, они перебивали друг друга, тут же призывая к порядку очередности. «Ну ладно, кончай уж, Виктор! А потом я тебе так навру!» – говорил Алексей Николаевич угрожающе. Темы рассказов были сугубо реалистические, с необычайно убедительными подробностями. Я слушала их затаив дыхание – так это бывало интересно. Безусловно, победителем в этих своеобразных соревнованиях бывал Толстой. Но все же иногда он с легкой досадой говорил: «Ну и здорово же ты врал сегодня, Басов!»

Я думаю, что в этих рассказах Алексей Николаевич прицеливался, брал разгон и оттачивал какие-то отдельные выражения, фразы и характеры – это были его профессиональные писательские упражнения.

Любил Алексей Николаевич свой сад вечерами и ночью, его тишину, летние запахи его цветов и земли, запах морозного воздуха зимой. Молчал, вдыхал, любовался, а если говорил, то каким-то благоговейным тихим голосом.

Часто ездил Толстой в Ленинград по делам, не пропускал он и интересных спектаклей и концертов. Любил ездить в гости, иногда, поддавшись своему вечно молодому задору, прихватить с собой нескольких своих друзей, которых он упорно убеждал, пока они не сдавались и подчинялись, что поехать неприглашенными и есть самое привлекательное. Хозяева дома, не подготовленные к такому нашествию, бывали, естественно, удивлены и растеряны, а приехавшие смущены. Но Алексей Николаевич умел в таких лестных выражениях представить

друг другу хозяев и привезенных, что всем не оставалось ничего другого, как чувствовать себя польщенными.

Тут Алексей Николаевич брал инициативу в свои руки, вел себя столь уютно и непринужденно, что неловкость быстро рассеивалась, и обычно «пострадавшие» хозяева потом говорили, что такого интересно проведенного обеда или вечера они у себя не помнят. Я несколько раз бывала жертвой этих его чудачеств.

Так же и домой, в Детское Село, из Ленинграда он вваливался часто в сопровождении изрядного количества неожиданных гостей. А бывали и такие случаи, когда он, войдя в дом, говорил: «Через час поездом приедут человек двадцать, двадцать пять – уговорились, что к обеду». И если домашние спрашивали Алексея Николаевича: «Кто же приедет?» – он говорил: «Не приставайте! Мотался по городу, приглашал не помню кого, но все безусловно чудные люди! Вот сами увидите!» Лица домашних, особенно ведавших хозяйством, естественно, выражали легкий ужас, но всегда все улаживалось к общему удовольствию. Чувствовал он иногда необходимость поговорить «по душам» о сугубо личных, подчас сложных и важных домашних делах, и в таких случаях бывал он слегка смущенным. Для таких бесед чаще всего выбирал он странную обстановку – внутреннюю деревянную, с уютными пузатыми балясинами перил лестницу, ведущую во второй этаж, где расположены были спальни. Расставив на ступенях несколько пар обуви и разнообразнейшие предметы для чистки ее (Толстой любил сам чистить обувь), он усаживался на край одной из ступенек, приглашая меня расположиться так же. Осмотрев внимательно башмак или туфлю, подлежащие чистке, он приступал к делу, а одновременно и к разговору. К концу разговора обувь была доведена до изумительной чистоты и блеска. Иногда он говорил: «Хоть бы привезла какие-нибудь особо грязные, паршивые туфли, а то дома я уже все перечистил!»

В 1931 году в личной жизни Алексея Николаевича Толстого произошла большая перемена – он разошелся со своей женой Наталией Васильевной Крандиевской-Толстой и женился на Людмиле Ильиничне Крестинской.

Часто бывал Алексей Николаевич, а иногда, приехав на длительный срок, жил и работал у А. М. Горького и в Сорренто, и в Десятых Горках под Москвой, и в Крыму в Тессели. Горький очень любил и восхищался Алексеем Николаевичем Толстым, его бурной талантливостью не только в литературе, но и в жизни и всегда зорко и с любопытством присматривался к Алексею Николаевичу.

Дружеские беседы Толстого с Горьким касались и судеб советской литературы, и вопросов социалистического реализма, и науки, и политики, и сугубо профессиональных писательских вопросов.

В доме Горького Алексей Николаевич встречался с руководителями партии и правительства, участвовал в происходивших деловых совещаниях и беседах, слушал, говорил, бурлил, как всегда, внимательно впитывая услышанное, и многое уяснял себе в результате этих бесед и встреч. Все это толкало его и помогало ему встать на путь больших общественных дел, которые он выполнял с присущими ему страстностью и талантом.

Конечно, Алексей Николаевич Толстой вносил в жизнь Горького и свою ненасытность к развлечениям, и озорство. Тут были и рыбная ловля бреднем или сетями, и далекие походы в леса за грибами, и купание в Москве-реке с чехардой и кульбитами в воде, и множество других, всегда увлекательных затей, на что были очень падки все живущие в Горках, включая самого Алексея Максимовича.

Однажды летом решено было организовать под вечер «грандиозную», «сверхъестественную» (слова Алексея Николаевича) рыбную ловлю бреднем в Москве-реке, на высоком берегу которой расположены Горки. Тут же, у воды, по предложению Горького предполагалось разложить костер и варить уху из будущего улова – как известно, Алексей Максимович питал особую любовь к кострам.

В тот вечер у Горького собралось довольно много народа. Спустились к реке. Вода была весьма прохладной. Молодежь должна была лезть в воду и вести бредень. Толстой рвался тоже участвовать в этом, но ему воспрепятствовали. В тот день Алексей Николаевич одет был в очень простой, но восхитивший всех новый костюм какого-то замечательного синего цвета. «Это дома так дивно выкрасили, – хвастливо говорил он, – а рубашка и штаны самые обыкновенные – холщовые». Алексей Николаевич любил детально обдумывать свою одежду, и цвет играл в этом не последнюю роль. Все, что на нем бывало надето, всегда отличалось чем-то не совсем обычным, а главное – он умел носить одежду очень непринужденно, как бы не замечая ее и не думая о ней.

Рыбная ловля началась. Бредень повели. Мы все стояли на берегу и наблюдали за рыбаками – больше всех волновался Толстой. Внезапно бредень зацепился за корягу, и ведущие тщетно пытались его отцепить. Никто не заметил, как и когда Толстой не выдержал, влез в воду в одежде и обуви и, по горло в воде, уже стоял около бредня. Вскоре бредень был отцеплен, а Алексея Николаевича с трудом уговорили выйти на берег. Когда он, уже на берегу, прыгал, фыркал и отряхивался, смешно имитируя выкупавшуюся собаку, мы заметили, что вода, стекавшая с него, его шея и руки были ярко-синими, а лицо – в синюю крапинку. «Дома выкрашенный» костюм линял и явно был виной этому. Решено было тут же раздеть Алексея Николаевича и вымыть. Кто-то, уже вскарабкавшись вверх по откосу, бежал к дому за мылом и мочалкой. За ужином Толстой предстал в голубом виде, что нимало его не смущало, а скорее веселило. В течение недели, ежедневно, топили баню, отпаривали и отмывали уважаемого писателя и наконец довели его телеса до естественного цвета.

Алексей Николаевич не был эрудитом и энциклопедистом, но обладал даром какого-то провидения в глубь веков, событий и людей. Изучив или увидев иногда даже маленькую, но характерную частность, он мог представить себе и убедительно воссоздать своим воображением все в целом. Он уверял, что ему, как писателю, мешает в работе загромождать себя слишком большим количеством точных фактов, дат, пространственных описаний – то, что у писателей называется «материалом».

Однажды после очередного отъезда Толстого из Горок, стоя у подъезда дома и провожая глазами увозивший Алексея Николаевича автомобиль, Горький с легкой досадой и грустью сказал: «Говорят, маловато читает сей талантливейший товарищ... – И, помолчав, ласково добавил: – Впрочем, у него как-то и без этого хорошо получается, какой великолепный писатель!»

Покупки отца и его коллекция

Отец не мог примириться с тем, что ему не пришлось стать художником. К тому времени, когда во мне наконец заговорил художник, большой помощью для моего дальнейшего развития в искусстве была страстная любовь моих родителей к всяческому искусству, а у отца – особенно к живописи.

Начав с малого, отец покупал редкие вещи, пользуясь накопленными знаниями, развившимся вкусом и возрастающими денежными возможностями. Постепенно наша квартира стала представлять из себя небольшой музей, в котором были картины, преимущественно старых мастеров, иконы, деревянные церковные раскрашенные скульптуры, русские и восточные образцы, старинное русское серебро, медали и монеты, старинная мебель, огромная библиотека книг по искусству и коллекция репродукций картин и рисунков более чем четырех тысяч художников разных национальностей начиная с XIV по XIX век. Для каждого художника – именная картонная папка, куда отец вкладывал фотографии и репродукции из журналов. Он выписывал художественные журналы разных стран, а фотографии приобретал в музеях, и если не было ему нужных, то заказывал фотографа, работавшим в музее. В отдельных шкафах хранились книги-монографии.

С журналами он поступал зверски (с точки зрения библиофилов) – вырезал всё интересное его. Попутно, из «отходов», он вырезал скульптуру, мебель, гобелены, фарфор, эмали и майолики, табакерки, ковры и раскладывал по особым папкам и альбомам – это он делал для пополнения моего образования, а после замужества он мне передал и переслал накопившиеся вырезки. Они оказались очень мне нужными, когда я сделалась театральным художником: можно было дома изучать быт и костюмы разных времен и народов.

До сих пор четко вижу отца с очень длинными ножницами в руке, сосредоточенно просматривающего новую партию журналов, вырезающего нужное над корзиной и раскладывающего на большом столе все отобранное по разделам – потом это будет надписано, подклеено и разложено по папкам. Он называл это занятие своим лучшим отдыхом. На столике около дивана, на котором отец спал, всегда лежали книги по искусству; на полях он записывал свои соображения и замечания.

От отца не отставала и мама, когда она освободилась от мелких забот обо мне (например, застегнуть штанишки...) и я стала ходить в гимназию. Она собирала русский фарфор, бисер, парчу, шали и вышивки. Собранием репродукций и книг приходили пользоваться искусствоведы, сотрудники музеев и художники.

Мне, конечно, было очень интересно (особенно в детстве) наблюдать и вслушиваться в разговоры, а иногда и в жаркие споры об искусстве. Но больше всего я любила, когда по воскресеньям рано утром приходил реставратор, а то и два. Это были бородатые старцы, одетые в поддевки, – старообрядцы-иконописцы. Они раскладывали на кусках фанеры деревянные лакированные ложки с обрезанными ручками и в них делали темперу: порошки красок смешивали с яйцом и долго терли пестиком, а в некоторых ложках «творили золото»: положив в ложку тончайшие листочки настоящего золота (оно раскатано тонко и такое легкое, что даже носом мне запрещалось дышать), налив какой-то жидкости, терли его терпеливо пальцем иногда целый день.

Устроив реставраторов как можно удобнее, отец говорил: «Ну, а мы с дочерью поедем на Сухаревку. Может, повезет – выудим что-нибудь интересное, требующее чистки или реставрации. Надеюсь, не откажетесь?» И мы уезжали. Уходя, реставраторы прикрывали ложки сырой тряпкой и просили смачивать, если высохнет. «Благодарствуйте! До следующего воскресенья», – говорили старцы уходя.

Старообрядцы эти были замечательными реставраторами, после них я очень придирчиво смотрю на работу теперешних – большинство не чувствуют стиля и манеры автора и дорисовывают что-то «ни в склад ни в лад» и плохо в смысле цвета. Да и лакируют как карету или плохую мебель.

Мы уже не впервые в Венеции. Я еще не взрослая, но позволяю себе в музеях кое-какие собственные суждения. Это нравится родителям, но иногда вызывает смех. Жара нестерпимая. Мама днем лежит в гостинице, а мы с отцом предпочитаем в самое пекло ходить по солнечной стороне. Папа говорит: «Запасемся теплом на зиму». Конечно, отец и в Венеции отыскивает антикваров, а в тот счастливый день мы набрали с ним на лавку барахольщика близ площади святого Марка, в каком-то закоулочке, около башни с часами.

Входим. Полутьма, пыльно. Я спрашиваю:

– Можно ли посмотреть?

– Прего (пожалуйста), – отвечает лениво пожилой толстый хозяин и продолжает сидеть в каком-то полусломанном необычайно роскошном кресле, обмахиваясь от жары и от мух сложенной веером газетой. Он мало заинтересован в нашем посещении.

Отец рыскает взглядом по стенам и полкам. Я за отцом – хвостиком, тоже вижу, что ничего красивого нет. Отец говорит:

– Поддержи – вот тут у стены какие-то картины и доска. Давай посмотрим.

И вот отец добирается до доски примерно в аршин высоты и чуть меньше в ширину, ни зги не видно – пыль, из которой выступает серебряный почерневший вырезной оклад нимба, очерчивающий обычно голову святых, – он с рельефами, и кое-где вставлены камни. Отец заметно волнуется, становится спиной к хозяину, подгибает ногу, опирает икону на коленку, говорит мне резко:

– Поддержи, мне нужна рука, а я ведь на одной ноге... – и, освободив правую руку, плюет на палец и трет около оклада, что-то проясняется... вытаскивает из кармана носовой платок и говорит, подставляя его мне: – Плюй! – Видно, у него от волнения пересохло во рту.

Я плюю, и он еще протирает в другом месте, опускает ногу, я отпускаю доску. Отец, с равнодушным лицом поворачиваясь к спящему хозяину, говорит мне:

– Буди!

Я трясую толстяка боязливо за рукав, он, ошеломленный сном, моргает, потягивается и говорит:

– Se usi fa troppo caldo (Простите! Слишком жарко сегодня).

Папа с равнодушнойнейшим видом говорит ему:

– Quato costa? (Сколько стоит?), – а мне: – Объясни, что эта черная доска нужна мне как доска, если недорого, то я ее куплю, – ведь не зря же ты изучала итальянский язык у «Данте Алигиери» (общество в Москве, где я начала изучать итальянский язык).

Не без труда я составила фразу. Хозяин хочет взять доску, папа ее цепко держит. Хозяин плюет на оклад, протирает выпуклость (что-то вроде ерундовского аметиста). Папа говорит:

– Пусть берет себе эти драгоценности – мне нужна доска. Делай вид, что уходи.

– Aspetta! (Подождите!) – И владелец лавки, к папиному изумлению, лениво называет какую-то очень маленькую сумму, объясняя, что вот если бы картины – другое дело, они денег стоят, а эту деревяшку берите, – наверное, в картинах вы не разбираетесь!...

Папа с просветленным от счастья лицом говорит:

– Кажется, что-то очень интересное попало – идем скорее к маме хвастаться.

В гостинице отец сразу же стер с доски пыль и протер сырой ватой. Изнеможенная мама оживилась, привстала и ахнула – мы увидели прекрасный лик божьей матери, держащей на руках младенца Христа. И спокойствие и грусть выражало лицо мадонны (в натуральную величину). Скомпоновано с необычайным мастерством. В смысле цвета – трудно было разобраться.

Помню, что фон оливково-зеленый. Все быстро «погасло», как только высохло. Вещь поразительная!

Вскоре надо было возвращаться в Москву. Заказали ящик, бережно уложили «Мадонну».

В Москве отец вызвал своих двух реставраторов, и они долго расчищали «Мадонну», которая засияла изумительной красотой и мастерством живописи. Фон весь был новоделом, а под ним блестело благороднейшего оттенка золото. Золотом же были написаны орнаменты на одеяниях.

К отцу начали приходить знатоки и коллекционеры икон. Сошлись на том, что «Мадонна» итало-греческого письма XIV—XV века и создана великим мастером. Многие предлагали отцу огромные деньги за эту вещь или обмен на любые картины из их коллекций, но отец благоговел перед красотой «Мадонны» и сказал, что он хочет, умирая, ее видеть. Так и было. Да и мама умерла скоропостижно в 1938 году, сидя на диване, над которым висела «Мадонна», и только я буду лишена чести умереть под ее взглядом – ее у меня уже нет...

Сразу же после Октябрьской революции отец завещал свою коллекцию, кроме «Мадонны», московским музеям, о чем и сообщил в Отдел по охране памятников искусства и старины. В то время родители жили на Ленинградском шоссе, в новом доме, выстроенном одним из Рябушинских. Квартира была зарегистрирована как музей быта, а отец назначен его смотрителем. Правда, редко, но все же приходили экскурсии рабочих с ближайших фабрик и заводов. В дальнейшем дом Рябушинского был отдан летчикам. Всех жильцов выселили. Родителям дали квартиру в пять комнат в 1-м Колобовском переулке. Тут музей функционировал уже более интенсивно. Отец продолжал быть смотрителем, но одновременно вошел в организовавшуюся коллегия юристов.

В 1925 году в ноябре отец скончался от брюшного тифа дома на диване, над которым висела «Мадонна». Завещанные музеям вещи были отданы моей матерью по назначению. Я теперь встречаю некоторые из них в московских музеях.

Мюнхен

Когда я решила ехать учиться в Мюнхен, не так-то просто было подготовить к этому родителей. Мама говорила: «Ведь ты еще не взрослая, я не могу ехать с тобой: у папы припадки, не можешь же ты жить там одна?» Отец присоединился к этому. Но я-то как раз мечтала жить самостоятельно. Я чувствовала себя вполне взрослым человеком.

Помощником моим в «обработке» родителей был Владя. Он сказал родителям, что надо меня показать хорошему невропатологу, и рекомендовал пойти к его другу Кайранскому. С ним Владя уже договорился. Родители были напуганы, боясь, как бы я не унаследовала папину эпилепсию, и вопрос о Мюнхене был решен в мою пользу.

Весной 1910 года мама и я (профилактически, из-за моих слабых легких) приехали в Ospedaletti (захудалое местечко на Итальянской Ривьере). Мы не дожили там намеченного срока: газеты сообщили о приближении кометы Галлея и ее возможном столкновении с Землей. Мама впала в панику. Решаем ехать в Милан, несмотря на мои протесты. Я не думаю, как мама, что «на людях и смерть красна», и вообще не думаю о смерти.

В Милане мы поселились в пансионате на площади перед знаменитым Миланским собором; комната на третьем этаже, с балконом прямо против собора.

Пансионат большой и населен главным образом певцами. Уже с утра со всех сторон несутся звуки упражнений и бесконечных повторений арий. Мама любит пение и слушает с благоговением, особенно колоратурных Джильд, Тоск, Виолетт и прочее, а из мужчин – баритонов. Со всего мира в Милан стекаются для стажировки лучшие певцы. Несколько дней пение отвлекало маму от страха, но комета приближалась... и вот канун дня – «быть или не быть» нашей планете?

Каждый час выходят экстренные выпуски газет и листовки с рисунками и трагикомическими оповещениями. Я бегаю на площадь их покупать.

Мама все больше нервничает, а я боюсь, что вдруг не увидим больше отца, который должен вскоре с нами встретиться в Венеции. Хотелось увидеть и влюбившегося в меня (в прошлую нашу поездку) красавца венецианца. Я ему посылаю телеграмму о том, что мы в Милане – ждем гибели. Он отвечает: «Приеду». Мне стало легче.

В вечерних газетах сообщалось о том, что дома для сумасшедших уже переполнены, а в городе много случаев самоубийств, – я не переводила маме этих сообщений... Итальянцы – народ очень бурный и эмоциональный в веселье, любви, горе и ужасе. Работать перестали уже днем. Собор переполнен молящимися – люди выплескиваются наружу, стоят на коленях, простирают руки с грудными младенцами к небесам и поют молитвы о спасении, многие агрессивны и посылают проклятия святым и господу богу. Многие юродствуют. Тут же появляются ряженые: персонажи комедии дель арте и очень много «звездочетов» в высоченных колпаках и балахонах, разрисованных лунами, звездами и хвостатыми кометами. Все очень живописно и интересно, но чувствую, что юмор и меня покидает.

Стараемся с мамой не встречаться глазами – оберегаем друг друга: кто знает, может, действительно последние часы... Нет! нет! – ведь завтра приедет венецианец. Наступило завтра – роковой день! С утра все на улице. Магазины, квартиры – окна настежь. Рестораны, кафе, продовольственные магазины открыты – хозяева щедры, бери что хочешь – ешь, пей! Вот хлеб, вино, фрукты, даже мороженое! Все бесплатно, а в пассаже около собора хозяин кафе выставил корзины с кианти и шампанским, чокается с посетителями – весельчак! Трещотки, дудки, конфетти, все атрибуты карнавала, но все же чувствуется надрыв: много рыдающих с бессмысленным взглядом. Многие в диких масках...

Мы с мамой побродили по улицам, но, ошеломленные, вернулись к себе на балкон.

Вечереет – я приуныла: венецианца нет. Прилегла забыться. Вдруг треск, взрывы, крики – вскакиваю, вижу маму с белым лицом, говорит:

– Скорее! Скорее! Начинается! – Она без сил опускается на кресло: – Дай скорее из шкафа мою юбку от костюма.

Я спрашиваю, зачем.

– Бежать! На мне узкая – неудобно... – Тогда носили длинные и очень узкие юбки.

Вдруг мне делается очень смешно, я бросаюсь к маме, целую ее и умоляю успокоиться. Мама переодевает юбку, и мы идем на площадь. По лестнице несется оголтелый, чуть не сбивая нас с ног, мой венецианец, лицо веселое, счастливое – скороговоркой:

– Только что приехал, извозчик ждет за углом – поедem по городу и за город – как я счастлив! Будем веселиться, ужинать!

– А комета? – спрашивает мама.

Он рассмеялся и, схватив нас за руки, потащил к извозчику.

Когда через два дня мы ехали в Венецию, то по ночному небу, низко у горизонта, медленно, красиво и величаво проносила свой светящийся хвост комета Галлея, не столкнувшись с Землей.

В 1915 году я ее изобразила на эскизе «Бегство в Египет», который в 1963 году в день семидесятилетия Петра Леонидовича Капицы подарила ему.

Почему же я стремилась именно в Мюнхен? Почему учиться рисовать? В то время я уже разбиралась в живописных направлениях и школах. Видела новейших французов у С. И. Щукина и Морозова. И Мюнхен для меня ступенька к главной цели – Парижу!

В музеях Берлина, Вены и на выставках картин в Венеции да и в репродукциях видела картины немцев. Не нравилась мне их тяжеловесная живопись. А их самоуверенность и точность в рисунке внушали уважение, особенно – Дёрер, Гольбейн, Альтдорфер.

И вот наконец Мюнхен. Приехали из Венеции с родителями осенью. Кто-то порекомендовал «Пансион Романа» – прямо против Академии художеств. В нем жили в основном художники. Некоторые с женами и детьми. Я стала расспрашивать, у кого бы учиться. Эссиг, ученик знаменитого Штука¹³, только что окончивший с отличием Академию, открывает студию, где будет преподавать только рисунок. Получили адрес. Я мало знала немецкий, а родители не знали совсем. Все же договорились. На днях начнутся занятия. Родители не хотели уезжать, пока я не начну учиться. Осматривали музеи и город. Чисто, уютно. Витает дух искусства.

Меня поразило количество и качество магазинов, продающих все, что нужно для художников. Можно выбрать по вкусу и на любые цены, бумагу листами или с рулона – до двух метров ширины. Она разных цветов и оттенков, любых сортов и фактур. Для пастели – мелко- или крупношерховатая. Можно просить покрыть бумагу клеем или лаком (если художник хочет рисовать на ней масляной краской). На подрамник, любого размера из сухого дерева, могут натянуть любого сорта с любым грунтом холст или наклеить бумагу в любом количестве листов. Бумага натянута, как кожа на барабане. А как удобно! Сделал рисунок и срезаешь этот лист, а под ним следующий – заманивает! Только рисуй! Не нужно раздражающих, вечно выскакивающих кнопок. Расплачиваться – при получении заказа. Присылают в студию или на дом, точно в договоренный час. Заказ выполняется за несколько часов. А как это все важно для художника!

Мы с отцом попали в один из таких магазинов, и я договорилась, что буду у них заказывать и покупать все, что мне нужно. Хозяева – муж и жена, старенькие, маленькие. Видно было, что они любят свое дело и гордятся, что Мюнхен интернациональный город художников.

¹³ Штук Франц фон (1863—1928) – мюнхенский живописец. Его ученики В. Кандинский, Клее. Автор исследования «От кубизма к классицизму» (1921).

Пробыв со мной неделю, родители решились ехать домой. Прощаясь, я видела в их глазах трагедию, а я думала: «Какое счастье! Начнется моя самостоятельная жизнь, а впереди... жизнь художника!»

И вот первый день работы в студии. Учеников – пятнадцать. Занятия утренние с девяти до часу – обнаженная натура, а за отдельную разовую плату с семи до девяти вечера – наброски. Утром я работала ежедневно, а вечером – не всегда. Начала скромно: за два дня нарисовала на листе ватмана натурщика. Рисовала с «отвесом» (гирька на веревочке) – для проверки, какие точки тела натурщика совпадают по вертикали. Эссиг настаивал, для начала, на этом способе. Рисунком остался доволен, кое-что прокорректировал – замечания дельные. Два-три ученика рисуют натурщика в натуральную величину. Я спросила – почему? «Рука тренируется лучше на длинной линии, да и ошибки заметнее. Попробуйте!» Я никогда еще не рисовала всю фигуру в натуральную величину. Мне очень захотелось! Забежала в магазинчик к старичкам – заказала в рост человека подрамник с двадцатью листами желтоватой бумаги, слегка шероховатой – хороша для угля, для итальянского карандаша, мела и сангины. Наутро принесли в мастерскую. Встав перед этой громадной пустой плоскостью, я струхнула – долго размечала пропорции обнаженного натурщика, отмечала вертикали, и, когда начала эти точки соединять линиями, дело пошло быстро и для первого раза удачно. Не опозорилась. Эссиг отметил, что схвачены движение и характерные черты натурщика.

По дороге домой купила себе букет цветов. Комната моя была очень уютной и даже красивой. Вся мебель – под карельскую березу с инкрустацией черных полосок и розеток... Стиль – бидермейер. В комнате кровать, кушетка, шкаф, стол круглый посередине, два стула, два кресла и умывальник (он же туалет) с черной мраморной доской, на ней – фарфоровый таз и кувшин с водой, а над всем этим – большое зеркало.

И родители и я удивлялись, что такая комната с уборкой, завтраком, обедом и ужином – шесть марок в день. Фрау Ризенхубер (хозяйка) любила художников и поражала энергией: она прибирала, стряпала и раздавала еду за обедом и ужином. Была ко всем очень внимательной, а меня особенно опекала, называя «брошенным ребенком».

Осенью бывало холодно, и я, надев на ноги ролики (большинство улиц асфальтировано, и это обычный способ передвижения), мчусь в студию – всего минут десять. На ближайшем углу покупаю горячие печеные каштаны, насыпаю в большие карманы пальто, засовываю туда руки, и делается так тепло, что, конечно, не буду выписывать шубу из Москвы – обойдусь каштанами!

Примерно через месяц моей работы в студии появился новый человек – молодой француз. Он был для меня посланцем небес и спасителем от «немецкой скверны». Как я обрадовалась, услышав французскую речь! Уже многое в Мюнхене мне стало противным. Увлеченная самостоятельностью и свободой, я старалась перевести на юмор то, что меня раздражало в немцах. Француза звали Морис Морикан. До сих пор так я и не понимаю, зачем он оказался в Мюнхене. Он или его родители, очевидно, люди богатые. Ему двадцать семь лет. Некрасивый. Элегантный. Остроумный. Живет в роскошном английском пансионате, находящемся в парке «Энглишер гартен». Иногда приглашает меня туда обедать или поужинать. Про немцев говорит: «Эти проклятые немцы!» С тоской вспоминает своих друзей, французских художников Поля Ириб и Жоржа Лепап, модных в то время графиков. Его рисунки, графические композиции – смесь Бердслея с Лепапом. Мы проводили вместе много времени. Он со мной нежен, почти как с ребенком. Иногда я позволяю ему меня поцеловать. В делах плотской любви я была наивна и несведуща. Любовь понимала как нечто высокодуховное. Тут любви не было. Я считала, что между нами приятная дружба. Он был приличным человеком, ценил и щадил мою молодую наивность. Когда я спрашивала Мориса, зачем же он приехал и почему не уезжает, если его так все раздражает, он таинственно говорил: «Так случилось. Я болел... тут климат

хороший... я должен промучиться здесь... – И прибавлял: – Но... ведь я встретил вас, „мой маленький“.

Мы с ним бывали в больших музеях и в музеях-виллах – Франца Штука и Ленбаха, где меня поразили лежащие на роскошных тумбах, девственной чистоты и новизны, палитры красного дерева с воткнутыми в них новыми колонковыми кистями. На палитры выжаты кучки красок. Тут же мольберт, на котором поставлен не совсем законченный портрет, но уже с подписью художника и в очень богатой раме.

Мы часто ужинали в ресторане подвала Ратуши – нравилось сидеть под средневековыми сводами между толстенными колоннами. Заходили в фирменные пивные залы разных заводов. Самым огромным и старинным было здание знаменитого завода с мюнхенским гербом. В нем несколько залов. В самом большом размещались на скамьях за столами человек четверста. Сидели немцы с женами и детьми, даже новорожденными, которые, не осознав еще своей национальности, кричали: «Уа, уа, уа!», а в них вливали уже из маленьких кружек или перелитое в бутылочки с сосками пиво.

Мужчины пьют из литровых фаянсовых кружек и курят зловонные сигары. Жены из поллитровых – чокаются, пиво кипит пеной, бегущей на деревянные, без скатертей, древние столы. Едят сосиски (удивительно вкусные) и сухие крендельки, осыпанные крупной солью.

Издали доносятся звуки оркестров, играющих популярные баварские песни. Все подпевают. Дым такой, что вдаль ничего не видно. Пивные голоса, утробный смех! Довольно мерзко это бургерское благополучие.

Дахау

В пансионе я слышала от художников, что то один, то другой едут на этюды в Дахау – это старинный городок (теперь – не к ночи будь помянут), расположенный в горах. Я рассказала о Дахау Морису и уговорила поехать туда тоже на этюды – там есть гостиница. Он согласился.

Ехали туда часа три. Все в городе миниатюрное. Гостиница на главной площади – двухэтажный старинный домик. Комнаты крошечные, на втором этаже, до потолка рукой подать. Освещение – медные шандалы со свечами. Окошки крохотные, с деревянными ставнями, в них вырезаны сердца. Мебель – деревянная кровать вроде шкафа на высоких ножках, чтобы «в нее» забраться – лесенка на три ступени. Створки из толстых брусков представляют собой решетку, с внутренней стороны которой занавесочки из ситца цветами. Кровать с матрасом таким мягким, что в нем можно утонуть. Одеяло пушистое шерстяное, поверх – пуховая перина. Гора подушек. Кроме кровати в комнате небольшой столик, два стула и диванчик. Мы наняли две комнаты – они примерно все одинаковые. Нам казалось, что мы великаны. Поужинав, вышли погулять по городу. Было часов восемь вечера. Когда мы просили ключи от комнат, хозяин предупредил, что вернуться мы должны не позднее девяти часов, так как гостиница закрывается, весь город ложится спать, и он в том числе.

Мы побродили по безлюдным улочкам. Вышли вскоре за город, полюбовались на горы и внизу текущую шумную горную речку Изар. Возвращаемся. В комнатах невообразимая жара. О том, чтобы залезть в постель (под потолок), страшно подумать – очень теплый вечер. Высушившись из окошка, стала думать о том, что я заприметила в городе, чтобы утром отправиться на этюды. Я уже соскучилась работать в студии без красок и приехала в Дахау с красками и этюдником.

Смотрю в окошко на площадь – вокруг домики-игрушки, еще меньше гостиницы. Черепичные крыши. Площадь пятиугольная. Тишина. Вдруг – как будто звенят ключами, а вот музыка – бьют часы, и я вижу, как начинают приоткрываться двери домов и оттуда выходят, как привидения, странные фигуры. Разглядываю: мужчины в длинных ночных белых рубашках, на головах – колпаки вязанные цветные с кисточкой. Шлепают туфли, надетые на босу ногу. В руках – железные фонари с зажженными свечами. Фигуры постепенно объединяются, и начинаются разговоры шепотом: обсуждение случившегося за день и сплетни про каких-то Францев, Март и Гансов (совершенно иллюстрация к сказкам братьев Grimm). Беседа старичков (жены, очевидно, уже спят) длилась недолго, но была ритуальна. Затем, очень церемонно раскланиваясь (кисточки колпаков при этом свешивались вперед и раскачивались), желали друг другу и всем вместе «гуте нахт» (доброй ночи), господин такой-то (название занимаемой должности – это были именитые люди этого городка). Доброй ночи, господа.

У Мориса не хватило юмора, чтобы это оценить и умилиться, – я застала его в комнате мрачным и злым. Мне захотелось его развлечь (где же моя взрослость?!). Я принесла мыло, налила воды в пепельницу, взяла соломинку (мы пили какой-то напиток через соломинку) и стала пускать по комнате и на площадь мыльные пузыри – в этом деле я была мастером – и, взяв у Мориса сигарету, в некоторые шары впускала дым – казалось, что они сделаны из опала. А когда они медленно плыли по площади и на них попадал свет луны, это была красота детских лет! Морис в конце концов развеселился, и я пошла к себе. С утра отправились на этюды, каждый туда, где приметил интересное. Встретились за обедом – у каждого по несколько работ. У Мориса рисунки. У меня живопись. Мне нравилось нарисовать все черной толстой линией (маслом), а потом вводить живопись в эти контуры. Рисуночно и композиционно я уловила характер Дахау, а цвет взяла слишком ярко.

После обеда решили, что довольно Дахау и не спать от духоты еще одну ночь не стоит – надо ехать в Мюнхен.

Мне приятно вспоминать Мориса – он человек с юмором, сарказмом и большим обаянием. Я за многое ему благодарна: за мысли, на которые он меня наталкивал, за вкусы в искусстве и жизни и за то, чего во мне совсем не было, – любовь к музыке.

Мы ходили на концерты. Постепенно я пристрастилась и даже что-то запоминала. Водил он меня в театр на оперы Вагнера. Я была ошеломлена этими мощными звучаниями и вскоре начала «слышать» музыку.

Морис – большой эстет: чтобы слушать оперу, он берет всегда одну и ту же ложу. Отдавая билетеру наши пальто, он что-то говорит ему. Мы входим в миниатюрную аванложу; в ней по стенкам стоят два узких диванчика и небольшой овальный золоченый столик. Вошли в ложу, сели в золоченые кресла. Зал украшен белой и позолоченной лепкой. Люстры со свечами. Очень уютно. Голубое, белое, золото...

Оркестранты настроили инструменты. Под аплодисменты вышел знаменитый дирижер, взмахнул палочкой, и началась увертюра к опере «Тристан и Изольда». Я оцепенела. Вдруг Морис тихо встал. Я спросила: «Куда?» Он, показав глазами на аванложу, сказал: «Приходите», – и скрылся, оставив дверку приоткрытой. Немного погодя я тихо встала и пошла за ним. Сначала испугалась: Морис лежал на одном из диванчиков с закрытыми глазами. Я его окликнула: «Что с вами?» Он, не открывая глаз, шепотом сказал: «Устраивайтесь, как я, на другой диван, так лучше слушать музыку. На столике фрукты и шоколад. В антракте нам подадут вино», – и отвернулся к стене.

О таком поведении в театре я никогда и не слыхала, но решила, что это хорошо (а потом уже думала – жаль, что это не всегда так), особенно если еще отправлять в рот то шоколад, то виноградину. Звуки вливались в маленькое помещение аванложки, заполняя меня. Действительно блаженство! И я решила, что Морис, конечно, большой знаток музыки. В антракте служащий в голубом фраке с золотыми галунами (ну уж окончательно сказка!) принес белое вино. Морис говорил о содержании оперы и кое-что растолковал в музыке. Я сказала, что он доставил мне много радостей в этот вечер. Он рассмеялся, но я видела, что ему приятны мои слова. Он спросил: «Мой маленький, можно вас поцеловать?» – «Ну да, конечно», – ответила я.

Чем больше я слушала Вагнера, тем больше наслаждалась его музыкой, но одновременно он все больше, физически, потрясал меня.

Гуго фон Хаберманн

Мне еще в Москве, по репродукциям, нравились произведения мюнхенского художника Гуго фон Хаберманна¹⁴. Мне очень захотелось с ним познакомиться и побывать у него в мастерской. В Академии узнала его адрес; написать письмо помогли мне ученики студии. Жду ответа. А вдруг не ответит?! Я знала, что Хаберманн уже старик, очень знатного происхождения, имеет всяческие титулы, знаменит и богат. Бывает на торжественных приемах во дворце, куда полагается являться в костюме XVI века – с золотой цепью и орденом (какого-то барана) на груди (впоследствии Хаберманн подарил мне свою фотографию в таком костюме). Меня все это не смущало – я интересовалась им как художником. Он мне любезно ответил, назначив день и час. Все же я больше чем обычно обратила внимание на свой туалет, взяла папку с работами и отправилась. Когда стояла перед дверью его мастерской, не сразу нажала кнопку звонка – надо было отдышаться от волнения. Дверь открыла чистенькая старуха в белом фартуке и наколке на голове. Слегка удивленно просверлила меня глазами, указала на вешалку, открыла дверь в мастерскую и, осудительно и неодобрительно прокричав: «К вам пришла слишком молодая фрейлен», – быстро повернулась и скрылась. Я подумала: «Фея Карабос!»

Стою, ошеломленная огромностью мастерской. Потолок так высок, что тонет где-то во мраке. Оттуда вниз, в свет возникают спускающиеся куски материй очень красивых оттенков: бархат, шелка и другие ткани. На разных высотах они пересекают друг друга, образуют складки и подборы, вновь взбираются кверху, поддерживаемые шнурами, или опускаются так низко к земле, что надо под них подныривать. В складках лежит столько серой пыли, что материалы кажутся таинственно-переливчатых оттенков. Красиво, но я не знаю, куда мне пройти и где Хаберманн.

Вскоре из этих полотнищ, не там, где я ждала, передо мной возникает знаменитый мэтр. Я его узнаю, так как видела в репродукциях много его автопортретов. Он меня довольно бесцеремонно разглядывает (как нечто живописное) и, сделав приятное лицо, улыбается и ведет в глубь мастерской, где стоит старинный стол и два ренессанских кресла. Предлагает сесть и вдруг, с чертиком в глазах, покровительственно хлопает меня по плечу и говорит: «Ну, будем говорить как художник с художником (разговор на французском языке), показывайте ваши работы, а потом я вам свои», – и игриво улыбнулся. Я слегка растерялась от его неожиданного поведения, так как приготовилась к встрече с серьезнейшим профессором, а тут вдруг – чудак! «Может, так и лучше?» – подумала и развеселилась.

Разговаривал он со мной со слегка преувеличенным почтением. Расспросил, откуда я, почему, зачем. Я ему рассказала. Критика моих работ была беспощадной, но очень верной и полезной. Про рисунки натурщиков и натурщиц сказал, что я решаю контур и светотень как две разные задачи и одно часто не соответствует другому, потому что я мало думаю о целом. Посоветовал попробовать выразить все только линией или, наоборот, только светотенью. Я не скоро поняла, какой замечательный совет он мне тогда дал. О моих черных контурах, которые я вводила в пейзаж, он сказал, что это трюк и я им скрываю свое бессилие дать форму тоном, а не контуром. Вот и получается – раскрашенный рисунок. Я работала еще слишком мало, чтобы предаваться таким сложным размышлениям. А многое так никогда и не пришло ко мне. Нужно уметь чувствовать, видеть и не видеть и точно понимать, что для чего, и заранее знать, что должно получиться. Правила имеются для грудного возраста, и лучше, если сможешь обойтись

¹⁴ Хаберманн Гуго, Фрейхерр фон, барон (1849—1929) – немецкий живописец, портретист, писал также исторические и жанровые картины. В начале 20-х годов – один из основателей движения «Югендштилль» (стиль модерн). С 1905 г. был профессором Академии художеств в Мюнхене. Отличался выдающейся колористической техникой.

без них. Создавай для решения каждой задачи новые правила – свои собственные... Так я думаю теперь.

Ушла я от Хаберманна с разными чувствами и мыслями, а в общем, была довольна, особенно когда на прощание он мне сказал: «Не увидаться ли нам еще? Я написал бы ваш портрет. Меня заинтересовало ваше польское происхождение! Если захотите – сообщите, и мы условимся». Вот так старичок!

Каждый месяц я посылала родителям отчет – не менее четырех рисунков обнаженной натуры, рисунки голов и сделанные по вечерам наброски. Взамен получала деньги на учение и жизнь. Письма писала раз в неделю. Родители скучали, но терпели. Иногда получала подарки: то мех белого песца, то дополнительные деньги на платье или на костюм. Конечно, меня очень баловали. Я же была единственной!

Уже зима, выпадает снег, воздух пахнет вкусно. Уходя в студию утром, открываю окно в своей комнате. Когда возвращаюсь, в кувшине лед, и надо его продолбить, чтобы налить воды в таз – вымыть руки. Мороз до двадцати пяти градусов, но он гораздо меньше чувствуется, чем в Москве. Покупаю горячие каштаны несколько раз в день и греюсь.

Я раздумывала: в чем дело? Может быть, я не так нехороша, как мне кажется? Вот влюбился же в меня летом в Венеции два друга – один итальянец, другой албанец! А тут – профессор Хаберманн хочет меня писать! Я написала маме письмо о своих соображениях, поздравила ее и обещала больше никогда ее не упрекать в том, что она родила одну штучку, да и то урод! Мама в ответ написала наставительное письмо, чтобы я поменьше обращала внимания на свою внешность, так как ничего особенно хорошего в ней нет. Это я и сама понимала и решила, что художники хотят иметь бесплатную модель. Какая смешная путаница детского со взрослым была тогда во мне!

Прошло четыре с половиной месяца моей жизни в Мюнхене, и к русскому рождеству я была в Москве. Конечно, сердце у меня не камень, и я очень обрадовалась родителям, их ласке и заботам. Много сюрпризов было мне приготовлено. Как хорошо бывает дома! Хорошо-то хорошо, но я была озабочена тем, чтобы родители меня долго не задерживали. Я хотела попасть в Мюнхен к карнавалу, который бывает в феврале.

Родители, слышавшие о разнузданных нравах карнавала, сразу же сказали, что на карнавал меня непустят. Но они не знали, когда он будет. Я же, предвидя их страхи, сговорила с Хаберманном, что он меня письмом извлечет обратно в Мюнхен к карнавалу (я ему позировала, портрет получился, у меня есть цветная репродукция). Я обещала ему позировать еще для второго портрета. В середине января получаю письмо от Хаберманна, написанное по-французски. Он сообщает, что карнавал кончается и мне надо возвращаться, чтобы продолжать учение, да и он мечтает, что я соглашусь ему позировать еще для одного портрета. Он собирается оба их выставить весной. Ну бывают же такие чудные, сочувствующие молодежи старики! Я была в восторге, а родители во все поверили.

Вернулась я в Мюнхен вовремя. Карнавал начнется только через несколько дней. Мне скорее хотелось увидеть Мориса и Хаберманна. С Морисом странно – он не бывает в студии. Я его известила письмом, что приехала. Пришел смущенный и чужой. Я спросила, в чем дело. Он сказал, что не знает, все ли я пойму, но он должен мне признаться, что завел женщину – ему это нужно для здоровья...

– А при чем здоровье? – спросила я.

– Ну, я так и знал, что мой маленький не поймет этого. Нам придется видаться реже. Я жалею, я очень жалею, но ничего не поделаешь... – явно расстроенный, сказал он, и мне его стало очень жалко.

Ну, а карнавал? С кем я буду везде бывать? В конце концов, почему же мне не бывать одной – может, даже еще интереснее? А то все Морис и Морис! А когда захочется, можно будет встретиться. Как все сложно, а в чем дело – не понимала. Всему свое время!

Хаберманн был рад моему приезду, и мы договорились, что после карнавала я буду ему позировать. Он грустно сказал:

– Я старик, карнавал мне уже не под силу, и я пока уеду отдохнуть в горы. Желаю вам веселиться и многое увидеть. Я за вас немножко волнуюсь и прошу побаиваться незнакомых молодых мужчин, а то я буду раскаиваться, что помог вам выбраться из Москвы и надул ваших родителей.

Ни титул, ни звание профессора, ни мировая известность не мешали Хаберманну быть таким милым проказником.

Однажды я сказала, что удивляюсь, почему у него не вытирают, а копят пыль в мастерской.

– А где вы ее видите? Если на материях в складках, то я не разрешаю ее снимать – она накапливается десятилетиями и, лежа в складки бархата или атласа, так облагораживает материал и дает такие неожиданные сочетания тонов, которые и придумать трудно! А я их изучаю тоже десятилетиями, и, когда мне говорят, что мои работы красивы и необычны по тону, я-то знаю, чему этим обязан – толстому слою пыли, конечно!

Перед началом работы он всегда надевает старую тирольскую соломенную шляпу; она вся перемазана масляной краской, а спереди – особенно толстые наслоения. Он объяснил, что в творческом запале удобно вытирать кисть не о тряпку (где ее еще искать!), а о собственную голову, но лучше о шляпу, надетую на нее. Шляпа служит ему много лет и весит уже несколько кило. Иногда удастся немного краски отодрать... «А разве она мне не к лицу?» Я уверяю его, что очень.

Карнавал

Комнату в пансионе на время отъезда я оставила за собой, и, когда вернулась, меня очень радушно встретила хозяйка и проинструктировала в отношении карнавала: какие и где будут балы и увеселения и что из всего самое интересное. Сказала, что первую неделю по утрам будет завтрак, а обеда и ужина не будет, но на столе в столовой всегда будут стоять холодные кушанья, хлеб, тарелки и вилки с ножами. Кто из пансионеров и когда захочет, может питаться.

– Уходя, надо брать ключ от комнаты с собой: обычно плохого не бывает, но мало ли что... дверь остается открытой. Вот в прошлый карнавал забрел в пансион, в одну из комнат, какой-то чужой мужчина (приезжий), разделся и улегся спать. Ужасно измял чистые простыни! Вы можете испугаться, а я могу не быть дома. Я тоже хочу повеселиться, да и отдохнуть, если удастся.

В студии ученики еще более подробно все растолковали. Один особенно набивался быть моим гидом. Я согласилась, чтобы он меня сопровождал по городу в первый день и провел на один бал. В остальном – обойдусь сама. Студия закрылась на время карнавала. Хаберманн уехал в Альпы, Морис – в Швейцарию.

Первый день карнавала меня ошеломил. С утра вся жизнь города перенесена на улицы. Древние старики и старухи, дети, грудные младенцы, инвалиды, собаки – все вышли из домов. Все окарнавалены масками, шапочками, балахонами, а многие в костюмах разных времен и народов. На собак без ужаса или смеха нельзя смотреть – у многих приделано по второй голове, а у некоторых – три. Есть собаки, одетые тирольцами: штаны, курточки, шляпочки с перышком и рюкзаки. Есть собаки Коломбины, Пьерро и другие персонажи итальянской комедии дель арте. Некоторые являют собой карикатуры на современных политических деятелей... Многие свободно ходят на задних лапках и показывают «номера». Грандиозны карнавальные колесницы – по-разному разукрашенные грузовые автомобили. На них, на ходу, происходят выступления профессиональных артистов, самодеятельности или дуракаваляние. На некоторых установлены пианино. Художники и студенты выделяются выдумками, весельем и шумом. Все орет, гудит – голосом и при помощи самых разнообразных инструментов, духовых, струнных, просто дудок и трещоток. Многие еще днем пришли в состояние полной невменяемости, охрипли, осипли.

Я не могла и вообразить, что может быть такое количество конфетти и серпантина. Ноги вязнут по щиколотку в конфетти... Трамвайные и фонарные столбы, да и люди, опутаны лентами серпантина.

Хорошо, что меня сопровождал художник-мюнхенец. Когда случались попытки меня втащить на какую-нибудь колесницу или залезть мне рукой, полной конфетти, за пазуху или в рот и нос, он отстаивал меня силой и осыпал покушавшихся баварской бранью. Мы пообедали в ресторане, я слегка очистилась от конфетти – и вновь на улицу. Мне все интересно, и я не жалела, что нет Мориса – он бы мне многое испортил своим сарказмом. Меня заражал этот простодушный праздник, в котором веселились все, включая собак. Собаки посolidнее держались горделиво, а некоторые, облюбовав и обнюхав какую-нибудь «Коломбину» или «Тирольку», пытались за ней поухаживать, на что хозяйева говорили: «Пфуй, пфуй, какой стыд!»

К концу первой недели карнавала пансион окончательно зарос конфетти и серпантином.

Опишу один из балов. Он назывался «Античный бал в Афинах». Туда я расхрабрилась ехать одна. Устроители – художники, натурщицы и студенты Политехникума. Я придумала себе костюм – смесь Египта с Грецией – и решила, что основой будет шелковая, бирюзового цвета рубашка, на бедрах золотой пояс, распущенные волосы, на голове золотой обруч. Заказала по собственному рисунку сапожнику сандалии из золотой кожи. Он их в один день вели-

колепно выполнил за гроши. Они служили мне в течение нескольких лет – носила их в жаркие дни летом.

Наконец вечер Афинского бала. Я оделась, вернее разделась, в античную рубашку. Сандалии и обруч надену при входе! Взяла такси – бал далеко, в физкультурном зале Политехникума.

Войдя в огромный зал, потрясена увиденным: колонны вокруг бассейна, лестницы, ковры, яркие подушки, горящие светильники, «рабыни» с корзинами фруктов и цветов, странная струнная музыка. Народу полно. Все мало одеты, а много женщин вообще без ничего (это натурщицы, я даже увидела знакомых – позировавших у нас в студии). Я застыла в нерешительности, и у меня мелькнуло: «Может, уйти, пока не поздно?» Но мной руководило любопытство, я была уверена в своей «неприкасаемости», и, сделав вид, что ищу кого-то, на фальшивом спокойствии я пошла по залу, по лестницам... Кто-то приглашал присоединиться к компании возлежавших вокруг сосуда с вином, кто-то предлагал фрукты и розы, кто-то хватал за ноги, за руки... Я вырывалась, ибо мне хотелось осмотреться, а когда начнутся танцы, наверное, меня кто-нибудь пригласит, и я буду танцевать, а надоест – уеду...

Вдруг мне преградил путь быстро вскочивший не очень молодой «грек» – блондин в пенсне, но все же одетый в белую античную рубашечку и сандалии; он как-то просто протянул мне руки, посмотрел ласково в глаза и сказал с английским акцентом по-немецки: «Я вас прошу посидеть со мной... нужно было бы сказать – полежать, но я не хочу обидеть такую молодую девушку. Потом, когда заиграет оркестр, мы потанцуем». Я ему доверилась, тем более что уже устала от неприкаянности. Он ввел меня по ступеням, как в храм, на площадку между двух колонн. Там сидели трое его товарищей. Они при моем появлении вскочили очень по-современному и благовоспитанно. Все оказались из Политехникума: один немец, один итальянец и два американца.

И насмотрелась же я в этом «античном мире» такого, многое из чего поняла только через несколько лет. В бассейне плавали голые «греки» и «гречанки», и мой американский «грек», сказав, что «это уже не для нас», предложил отвезти меня домой. Я была ему очень благодарна.

После карнавала я стала опять усиленно рисовать. Вернулись Морис и Хаберманн. Я в благодарность за вызов на карнавал много раз позировала Хаберманну для второго портрета. С Морисом ходила на концерты и на Вагнера, но постепенно мы стали видеться все реже.

В марте приезжал отец – очень соскучился без меня. Днем, пока я работала в студии, он ходил в музеи, а потом мы проводили время вместе. Он удивлен был, насколько я осведомлена в отношении увеселительных учреждений. Я ему чистосердечно призналась, что все же попала на карнавал, во время которого я просветилась по этой части. Он меня не пробирал и смеялся.

В соседнем с «Пансионом Романа» доме находилось кафе «Симплициссимус». Ну кто не знал в то время этого знаменитого немецкого сатирического журнала с острым политическим текстом и остроумными рисунками! По его подобию, после 1905 года, начал выходить в Петербурге журнал «Сатирикон».

В «Симплициссимусе» можно было закусить, выпить кофе и вина. По вечерам бывали выступления за столиками или на эстраде авторов журнала и их друзей – артистов и музыкантов. Все это в порядке добровольном. Бывало очень весело. Платы за вход не брали. Я там бывала с художниками из нашего пансиона и повела туда отца. Мы с отцом по-взрослому теперь подружились и провели вместе дивную веселую неделю.

Какой же итог моего пребывания в Мюнхене? В самом главном – хороший. За год я нарисовала очень много рисунков, изучила человеческое тело, могла быстро, выразительно и анатомически правильно его рисовать в любом положении. Эссиг хорошо видел погрешности рисунка в смысле анатомии и передачи движения и сходства. Был упорен в требовании исправлений. С индивидуальной манерой каждого ученика считался.

Отец был доволен, я тоже. Мы договорились, что в мае я вернусь в Москву, а осенью поеду в «живописный» Париж. По правде говоря, «рисовальный» Мюнхен мне уже надоел. Но, конечно, спасибо моим учителям: Эссигу, Хаберманну, Мюнхену да и Морису.

Впервые вижу Маяковского

Вернулась в Москву. 1911 год – май. Мы с отцом смотрим выставку ученических работ в Училище живописи, ваяния и зодчества. Двухсветный зал с хорами вокруг. Работы удручающие. Рисунки оттушеваны до полной иллюзорности, а живопись бесцветная или бессмысленно цветная. Тоска и скука висят в воздухе. Совершенно неожиданно – гром с небес! Сверху, с хоров, несется прекрасно поставленный голос. Поначалу я даже не разобрала, что вещал этот сразу разогнавший туман скуки освещающий глас. Я подняла голову и увидела очень бледное, необычайно белое лицо и колонноподобную, как у античных статуй, шею. Засунутые в темные провалы под бровями, серьезные, гневные, повелевающие глаза. Он смотрел вниз, в зал. На нем была черная бархатная блуза и странно повязанный, вместо галстука, шарф, на лоб свисали прямые очень темные волосы, которые он время от времени сгребал рукой назад. Он громил выставку, бесцветное, ничего не говорящее искусство, призывал к новому видению и осмысливанию мира. Все для меня звучало ново, убедительно, интересно... Он призывал бороться со всяческой пошлостью и уничтожать все «красивенькое».

Я была взбудоражена, увлечена и с ним согласна. Это был Маяковский.

Париж

Году в 1910-м на выставке с небывалым названием «Голубая роза» (возмутившим многих) или на очередной «Золотого Руна» я увидела картину французского художника Ван-Донгена¹⁵, о котором никогда не слыхала. Картина меня поразила необычайностью композиции, откровенным сочетанием красок. Все остальное на выставке вдруг исчезло для меня – как будто пустые стены. Я видела изображенную, вкомпонованную в прямоугольник холста женщину с головой, повернутой в профиль, с огромным, обведенным черной чертой египетским глазом, дальше – шея, плечо и из чего-то пламенеющего оранжево-желтого (может, это задранная причудливо юбка) нога в оранжевом чулке, видная от выше колена и до икры.

1911 год – август. Осуществилась моя заветная мечта – я в Париже и буду здесь учиться живописи. Мне семнадцать лет. Родители и я ходим в районе Монпарнаса, где мне еще в Москве советовали обосноваться (самые лучшие школы в то время были уже не на Монмартре, а здесь, на Монпарнасе). Случайно вижу наклеенное у ворот дома (против вокзала Монпарнас) большое объявление:

АКАДЕМИЯ ВИТТИ

Живопись – преподаватель Ван-Донген

Рисунок – преподаватель Англада¹⁶

Вход под воротами, 5-й этаж. Мастерская.

Конечно, мы сейчас же вошли под ворота и совершили восхождение на мансарду по очень грязной лестнице. Долго звонили, стучали. За дверью слышались проклятия на итальянском языке. Дверь открыла фурия – заспанная, простоволосая, старавшаяся полами халата прикрыть далеко не девственную наготу.

Я спросила, можем ли мы видеть мадам Витти. «Это я», – не без достоинства сказала она и пригласила идти за ней. Через мрак, вонь и грязь попадаем в помещение с полусломанным диваном – из дыр обивки торчат пружины. Перед нами типичная тучная, не первой молодости итальянка, собирает свои массивные черные волосы в пучок и делает нам лицеприятную улыбку. Французский язык я знала лучше итальянского, и разговор шел по-французски. Я ей сообщила цель нашего визита и спросила, начались ли уже занятия.

О боги! Какая жестикуляция, какие позы, какие вздохи и закатывания глаз к черному от грязи потолку, чтобы сказать, что академия еще не открылась, но вот-вот откроется, и много учеников из всех стран мира уже записались! Тут же она рассказала, что была раньше одной из лучших натурщиц и так прославилась своим великолепным телом, что один американский

¹⁵ Ван-Донген (1877—1968) – голландский живописец. Его сочная палитра и линейная живопись предшествуют абстрактному экспрессионизму-ташизму (от франц. *tache* – пятно). Представители этого течения (1940—1950) провозглашали автоматизм творчества, создавая экспрессивные композиции из свободно положенных пятен.

¹⁶ Англада-Камароса Эрмен (1873—1959) – испанский и французский живописец. В начале своей деятельности входил вместе с Пикассо в группу «Черные кошки». С 1897 г. жил и работал в Париже. Особенно известен своими декоративными работами.

художник увез ее с собой в Америку, где писал картину из времени Древнего Рима и... «мы получили золотую медаль! Теперь уже не то! Вот мне и посоветовали устроить академию живописи со знаменитыми преподавателями». Она открыла дверь в очень большую мастерскую с верхним светом, но стекла были настолько грязны, что света почти не пропускали. Правда, были еще четыре обычных окна, распахнутых настежь – на площадь вокзала.

Моя мать оглядывалась вокруг с явной брезгливостью. Мадам Витти заметила это и, призывая мадонну и умерших отца и мать в свидетели, клялась, что завтра начнется ремонт, все будет «шикарно» и через неделю начнет функционировать «академия» – во всяком случае, ее живописное отделение. Плату она назвала довольно большую. А мне ведь грязь – не грязь, был бы Ван-Донген!

Надо было заняться тем, где я буду жить и питаться, когда останусь одна. А пока мы жили в гостинице. Я разговорила с кем-то в кафе – нам посоветовали пойти в пансион мадам Бадюэль. «Вероятно, это будет то, что вам надо», – сказали наши «общестоликовые» незнакомцы и дали адрес.

Пансион – на тихой улочке Бертоле. Близко от бульвара Монпарнас, минут двадцать ходьбы от «Академии Витти», недалеко от Люксембургского музея и сада, от Обсерватории и Мануфактуры гобеленов. Словом – средоточие культурной жизни. «Вот и отлично! – сказали родители. – Нам меньше волнений!»

Отправились в пансион. Улочка захолустная. Дом очень старый, четырехэтажный, узенький. Мадам Бадюэль – крошечная старая женщина. Вид ее напоминал наших школьных классных дам. В пенсне на тоненьком шнурочке, некрасивая, но очень приветливая, с прелестной улыбкой и скорбными глазами и бровями. Она нас приняла в гостиной, сказав, что сама ведет хозяйство, и показала свои владения. В каждом этаже направо и налево от деревянной, пронзающей дом насквозь винтовой крутой лестницы – коридоры, в которые выходят двери маленьких комнат. Мы выбрали в третьем этаже комнату с балкончиком на улицу. В комнате «довесок» – закуток с окном, там умывальник и шкафчик для одежды.

В первом этаже – гостиная и рядом узкая, длинная столовая (чтобы попасть на свое место за столом, надо протискиваться по стенке). Мы договорились: через неделю я перееду.

Близился день расставания с родителями – они уезжали в Москву. И хотя я была целеустремленной в живопись эгоисткой, но сердце щемило при мысли о разлуке. Да и чуть-чуть страшновато – Париж такой огромный. Я потом поняла, что в Париже можно жить уютно и не чувствовать ни одиночества, ни что ты на чужбине. Вроде как в Италии: так много человеческих доброжелательных взглядов, что кажется – случись что, и тебе сразу помогут.

Родители уехали – при расставании всплакнули. Накануне я перебралась в пансион. «Академия Витти» еще не открылась. Буду пока ходить просвещаться искусством в музеи и на вечерние наброски в «Гранд шомьер» (кто только из художников, бывавших в Париже, там не рисовал!). Внесешь пятьдесят сантимов – и рисуй хоть все два часа: модель меняет позы каждые пять – десять минут.

О том, что и как в пансионе мадам Бадюэль, меня сразу осведомила разговорчивая уборщица: «Мадам уже давно вдова. Конечно, мадам трудно, но у нее друзья – господин Марсель Кашен и другие, да она и сама депутат района».

Много любопытного я наблюдала, живя там. По вечерам, после ужина (первое время я вечером не уходила), приходили «друзья дома» и бывали жаркие политические споры. Я, в таких делах ничего не понимавшая тогда, узнала, что существуют и бывают здесь бонапартисты, роялисты и коммунисты. Один бонапартист, очень тощий и грязный, приходил всегда с удочкой и банкой червей с рыбалки. Удочку он не выпускал из рук, пальцы почти все перевязаны грязнейшими бинтами:

– Опять засадил сегодня два крючка в пальцы! Не успевают заживать!

Мадам, ласково посмеиваясь, спрашивает:

– А где же рыба? Опять, как всегда, сорвалась?

Обед в пансионе ровно в два часа. Ужин в половине восьмого. Если опоздаешь, пищу мадам Бадюэль не разогревает. Об этом все были предупреждены. В смысле еды – маловато и однообразно. Какие-то злоязычные жильцы шипели: «Опять так называемый кролик с фасолью, говорили бы прямо – кошка! Вчера я исследовала ногу – ну конечно кот!»

Единственный конфликт произошел у меня с мадам Бадюэль из-за выставки Ван-Донгена, которая открылась в октябре у Бернхейма-младшего. На выставке я задержалась – пришла к концу обеда. Все еще сидели за столом, но мадам на меня строго посмотрела. Я извинилась и сказала:

– Вы сами бы опоздали, если бы были на этой выставке, – и я передала ей каталог с несколькими репродукциями картин, фотографией Ван-Донгена и его вступительной статьей – очень смешной, как мне казалось.

И вдруг, начав читать, мадам с отвращением швырнула каталог на пол, закричав:

– Вот где ему место! Бесстыдник и негодяй!

Я растерялась, бросилась поднимать каталог и взывала ко всем сидящим:

– Но ведь это настоящее, большое искусство, и я горжусь, что он будет моим учителем!

Книжка шла по рукам сидящих, а мадам кричала, что пусть он меня и кормит и поит – она меня держать в пансионе не хочет. Я просила ее не волноваться и обещала больше на такие выставки не ходить и, приврав, сказала:

– Может, я и учить у него не буду.

Мадам успокоилась. Мы помирились, и я до весны прожила у нее, но часто про себя смеялась, вспоминая то место статьи Ван-Донгена, где он задает вопрос: «Что случилось бы с моралью и понятием приличного и неприличного, если бы всеблагая природа создала нас так, что на месте носа у нас был бы другой орган?»

У Бернхейма была и первая выставка итальянских художников-футуристов Боцциони, Северини и Карра¹⁷. Одна из картин была огромной и изображала бегущих лошадей – бесконечное количество лошадиных ног, которые переплетались, расплывались и опять возникали, – движение-то уж безусловно было передано. Вообще выставки очень пополняли мое художественное образование. Еще бы! Такие художники, как Утрилло, Пикассо, Леже, Дерен, Вламминк, Руссо, Модильяни, Руо, Марке! И до сих пор они остались для меня богами и пророками живописи.

¹⁷ Боцциони Умберто (1882—1916) – итальянский график и скульптор, футурист и неоимпрессионист. Излюбленная его тема – лошади и всадники в движении. Северини Джино (1883—1966) – итальянский живописец, футурист. Разрабатывал теорию преломления света в геометрических элементах. Карра Карло (1881—1903) – итальянский живописец и график, один из основоположников футуризма. Написал исследование «Живопись и метафизика».

Уроки Ван-Донгена

В середине сентября мадам Витти, ничего не отремонтировав, открыла свою «Академию» – пока без преподавателей. Модели были страшные – она выбирала подешевле. Среди начавших работать оказались двое русских, несколько англичан, один японец, остальные французы. Естественно, что с русскими я сразу же сдружилась. Эти два друга учились тоже в Мюнхене, но раньше, чем я. Так что для начала нам было о чем поговорить. Один – Иван Николаевич Ракицкий, второй – Андрей Романович Дидерихс¹⁸. У Ивана Николаевича и Андрея Романовича было трое приятелей в Париже: двое художники (они не посещали Витти), оба очень талантливые, – хорват Кральевич, венгр Ласло Матьяшевский, работавший явно в манере Эдуарда Мане. Третьим был мистер Доблер, норвежский журналист. Кроме часов работы и сна, мы неразлучны. Вместе развлекались, веселились, огорчались и вели бесконечные разговоры и споры на темы искусства. Все мужчины были не меньше чем на десять лет старше меня, и я у них была «enfant gate» (избалованным ребенком). Мне было весело, мне было приятно. Конечно, немного отвлекало от работы, но в общении с ними я многое узнала и повзрослела.

Наконец появился наш «профессор». Был понедельник, когда, как всегда, ставилась новая модель. Это женщина средних лет, безобразно сложенная, с торчащими ребрами и ключицами, а через живот – вертикальный, плохо заживший, уродливый шрам.

– Но в смысле цвета в ней что-то есть, и она может совершенно не шевелиться, – говорила мадам Витти. Кто-то из французских учеников сказал, что такую натурщицу мы не только неделю, но даже и часу не выдержим.

– Начинайте работу. Вот сейчас должен наконец прийти профессор, и мы посмотрим, что он скажет...

Он вошел: бело-розовый, с рыжей шевелюрой и квадратной бородой. Светлые голубые, насмешливо-проницательные глаза. Выше среднего роста, худой, благополучно-элегантный. Ничто не предвещало в его внешности особых странностей, поэтому, когда он вошел и остановился, мы замерли в ожидании – ну, что же дальше?...

Он лениво огляделся, состроил кислую мину, долго, протяжно зевнул на «а» и стал потягиваться. Наконец, отзевавшись, крикнул, хитро улыбнулся и сказал:

– Мне приятно, что вас так много (он получал от Витти «поштучно»). Браво! Сейчас будем заниматься... – В это время он увидел сидящую на табурете натурщицу и гаркнул: – Встаньте! С такой гадостью на животе нельзя быть натурщицей! Убирайтесь!

¹⁸ Ракицкий Иван Николаевич (1892—1942) – художник. Друг Максима Горького. В. Ходасевич посвятила ему далее отдельную главу. Дидерихс Андрей Романович (1884—1942) – советский живописец и график. Заведовал постановочной частью в «Молодом театре», где сотрудничал с режиссером С. Радловым. Возглавлял Ленинградский ТЮЗ (1930—1941).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.